



Александръ
Дунаенко

Рассказы

Эссе

В
прошлом
веке...

Александр Дунаенко

В прошлом веке... Рассказы, эссе

«Издательские решения»

Дунаенко А.

В прошлом веке... Рассказы, эссе / А. Дунаенко — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-743736-7

В книге собраны рассказы, статьи, эссе Александра Дунаенко, которые переносят нас в далёкие уже 70—90-е годы. Когда была другая страна. Другая жизнь... Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-743736-7

© Дунаенко А.
© Издательские решения

Содержание

Александр Еланчик об Александре Дунаенко	6
Илек	7
Муравей	10
Плеврит	13
Шенк	16
Партизанские были	20
Презервативы СССР	23
Диссиденты 70-х	28
Коркемжан	34
Уроки	40
Михаил Дмитриевич	42
Луна в стакане	44
«Tirit kivi»	47
Россовхоз	50
Конец ознакомительного фрагмента.	55

В прошлом веке...

Рассказы, эссе

Александр Дунаенко

Дизайнер обложки Дунаенко Александр

© Александр Дунаенко, 2019

© Дунаенко Александр, дизайн обложки, 2019

ISBN 978-5-4474-3736-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Александр Еланчик об Александре Дунаенко

Из сотен, прочитанных в детстве книг, многим из нас пришлось по зернам собирать тот клад добра и знаний, который сопутствовал нам в дальнейшей жизни. В своё время эти зерна пустили ростки, и сформировали в нас то, что называется характером, умением жить, любить и сопереживать.

Процесс этот был сложным и долгим.

Проза же Александра Дунаенко спасает нас от долгих поисков, она являет собой исключительно редкий и удивительный концентрат полезного, нужного, доброго, и столь необходимого человеческого опыта. Умение автора искренне делиться этим опытом превосходно сочетается с прекрасным владением словом. Его рассказы полны здорового юмора, любви и душевного тепла. Я очень рад знакомству с автором, и его творчеством.

И еще считаю, что нам с Александром очень повезло.

Повезло родиться и вырасти в той стране, о которой он так много пишет, и которой больше не существует.

Как, впрочем, не могло существовать в той стране, на бумаге, и такой замечательной прозы, которой сегодня одаривает нас автор.

Александр Еланчик.

Илек

Речка Илек – речка удивительная. Я знал её в детстве, и потом всю жизнь, и лучше нигде не видел, не находил. Мелкая, с прозрачной водой, среди полей чистого светло-жёлтого песка, который оставался и разравнивался потом уходящей водой и ветрами после бурных весенних наводнений. Мелкий тальник по берегам и поля песка. Летом бывает трудно добежать к воде, если уже снял туфли, тапочки – песок раскаляется. А расстояние до берега – шагов пятьдесят...

Илек и с самолёта смотрится очень красиво: голубая извилистая струйка в зелёных бакенбардах прибрежных зарослей, а то и вовсе без них – ничем от солнца не прикрытая, среди песка...

Илек – речка неглубокая. Поэтому прогревается быстро, в ней хорошо купаться с маленькими детьми. И безопасно и тепло. Случаются, конечно, на её пути к Уралу и небольшие затоны, и широкие плёсы. Но всегда можно выбрать место, которое вам больше подходит для отдыха.

Ближе к выходным это место выбрать всё труднее. Весь город распределяется с машинами и мотоциклами вдоль берегов, так что поймать рыбку, или отдохнуть с чужой женщиной становится практически невозможным. Но, если в машине хорошенько надавить на педаль акселератора, то уже через час можно оказаться в местах, куда только Макар или Арыстан пригоняют своих телят. И то – в обед. А, в остальное время, окрестности небольшой степной речки ничуть не уступают прославленным пляжам всяких там Сейшел и Канарских островов.

Речка Илек летом вся такая уютная и домашняя. Где мелко – у неё довольно быстрое течение. Когда я попал в пионерский лагерь в Уральскую область, где река Чаган, то долго не мог привыкнуть к тому, что трудно определить, куда, в какую сторону в ней бежит вода. Нужно было бросить в мутную стоячую воду яблоко и за ним проследить. Куда яблоко – туда и течение. Да, и вода в этом их Чагане серая, и холодная, и дно скользкое, глинистое, противное... В общем – никакого сравнения с нашим Илеком и, тем более, с Канарскими островами.

Но такой ручной, мирной речка Илек выглядит отнюдь не всегда. Она мелководная летом, она почти иссякает на перекатах к осени, её, замерзшую и занесённую снегом, можно даже и не заметить зимой.

Но, когда весной пригревает солнце и со всех сторон, со всех огромных степных площадей устремляются в Илек потоки талой воды, он превращается в могучую полноводную реку, Отца земли казахской, как Волга – Мать земли русской. На четыре – пять метров поднимается уровень воды, она разливается вокруг на многие километры. И тогда ни пройти через неё, ни проехать. Только – лодкой.

Ну, правда, такое положение существовало ещё в далёких стабильных семидесятых годах. Теперь понастроили мостов, добраться можно, куда угодно и когда угодно. А тогда...

В те времена школьники из родного моего посёлка Растсовхоз на время разлива перебирались в город, к родственникам, у кого были родственники. А те, у кого их не было, каждый день переправлялись через Илек на лодке. У меня родственников в городе не было. Мы с папой вставали раньше, чем обычно, на час и шли на переправу. Потому что у реки была очередь, за один раз можно было перевозить не больше восьми человек. Папе нужно было на работу, на завод, мне – вначале в пятый, а потом и во все остальные, классы.

Река Илек в половодье – это совсем другая река. Вода мутная, не понять, какая где глубина. Течение быстрое. В первые дни после вскрытия идут льды. Естественно, в это время на лодке никто не катается. Река становилась широкой, но величина эта была переменной: солнце пригрело, усилилось таяние в степи – воды больше, ударил мороз – вода пошла на спад. И потому часто приходилось искать, в каком месте новая пристань. И цены за проезд тоже менялись, в зависимости от ширины реки. Самая большая – двадцать копеек. В конце паводка, уже где-то в начале мая – десять.

В периоды этих лодочных переправ у меня всегда возникало острое желание самому попробовать сесть за вёсла, самому поработать перевозчиком. И я после школы часто околачивался возле шалашика дяди Карпа Колтайса, который был капитаном лодочной флотилии. Правда, лодка была одна, но, всё равно – флот.

И, случалось, мне везло – он пускал меня за вёсла.

А, нужно сказать, что управлять лодкой, грести вёслами в половодье на нашем Илеке, дело не только трудное, но и опасное. Ну, во-первых, сильное течение. И лодку нужно всё время держать наискось, под углом к течению. И – соразмерять усилия на правое и левое весло. Чуть недожал – и нос лодки разворачивает, и тебя относит течением вниз на сотни метров. Потом – собачий труд: лодочнику нужно часами молотить вёслами против сильного течения, чтобы опять вывести лодку на место, где у него пристань.

А, во-вторых – лодка легко могла опрокинуться. Особенно, когда она уже у берега. Когда берег остаётся уже на расстоянии вытянутой реки, можно расслабиться. Потерять бдительность и случайно этого берега коснуться веслом. Весло сразу втыкается, заstopоривается в глине, песке, течение давит с другой стороны на лодку, и она может опрокинуться. Вода ледяная. У берега может быть глубина в несколько метров...

Но я научился перевозить людей, научился уверенно управлять лодкой. Лет мне тогда было, может, тринадцать-четырнадцать. Во мне формировался мужчина. А мужчина должен проявлять себя в каких-то внешних поступках. Набить кулаком лицо школьному товарищу я не мог. Никогда не любил агрессию. А, к тому же, и не обладал особыми для того физическими качествами.

А вот на лодке пересечь реку – это было круто. Это не получалось у сильных мальчишек. И им дядя Карпо не доверял.

Помнится яркий солнечный день. Воскресенье. Немецкая пасха. На переправе и с той, и с другой стороны полно народу. Все в праздничных одеждах. Многие были одеты уже почти по-летнему. Ещё пару дней назад был «бескунак» – период обязательного холода, ветра и мокрых снегопадов. Когда тала вдоль реки покрыта льдом, по реке плывет «шуга» – мокрый снег. Когда вся лодка в грязи и тоже мокрая, обледенелая. Холодные брезентовые перчатки, газетки на сиденьях-перекладах, чтобы не испачкаться...

Так было всего пару дней назад, а тут наступил праздник – Христово Воскресенье, и отступили все мокрые мрачные и холодные силы. Природа откликнулась навстречу своим праздником: в воздухе запахло первой слабенькой зеленью, распустились пушистые «зайчики» на тале, они тоже местами зацвели, медово запахи, и к ним налетели со всех сторон специальные пчёлки. Не знаю, по каким делам в то воскресенье я оказался на переправе. Но, по обыкновению, покрутился, поотирался возле дяди Карпа, чтобы пустил он меня за вёсла.

Ну, Праздник! Как меня не пустить. И я несколько раз сгонял через реку туда и обратно. Потом дядя Карпо сказал, что «хватит», и я пошёл домой. Домой, так домой. И дорога домой в этот день Праздника была особенной: на тропинке, в траве виднелись скорлупки от крашенных яиц. И светило солнце. И слабый ветерок гнал над землёй первые весенние ароматы...

В этот день на Илеке лодка опрокинулась. Кто там был за вёслами – не знаю. Лодка подходила к берегу, весло уткнулось в песок... Погиб маленький мальчик. Лодка опрокинулась и накрыла его сверху. Поэтому его не могли сразу найти. А так – всех разнесло течением, но берег был близко, и пассажирам удалось выбраться...

В конце мая Илек мелел настолько, что лодка была уже не нужна.

Её вытаскивали на берег, отвозили в совхоз, где возле кузницы она лежала до следующего половодья.

Лодки не было, моста не было тоже. Мост сооружали позже. Вначале – пешеходный, из досок, потом делали насыпь, укладывали брёвна, и через мост уже могли проезжать машины.

А до этого времени и школьники, и рабочие с завода ферросплавов перебирались через Илек вброд. Вода, конечно, ещё не парное молоко, но потерпеть можно.

У меня скоро были каникулы. Обычно я один ходил из школы домой, а тут как-то получилось, что с одноклассницей, Надькой Брусницкой. Жила она в «посёлочке», отдельно от нашего совхоза, поэтому «просто знакомые», «просто одноклассники» – и всё.

Подожли к Илеку. Нужно, однако, переходить.

Я снял штаны, сложил их аккуратно, взял в другую руку свой и Надькин портфель и пошёл вперёд. Идти было недалеко: Илек уже превратился просто в широкий ручей, мелкий, с осветлёвшей водой. Я стал выходить на противоположный берег. Надька шла следом, я оглянулся посмотреть – как она там? Надька переходила небольшое углубление у самого берега и высоко подняла юбку. Голые ноги, маленькие трусы в бледный розовый цветочек.

А я ещё никогда не дотрагивался до девчонок. И не «дружил» и – ничего. Я их не знал и вблизи, можно сказать, не видел. Потом – зима, одежды... Шубы, валенки, сапоги, всю зиму видишь у одноклассников только лицо из одежды, а тут...

А тут, сразу – длинные белые девчачьи ноги, трусы...

Надька делала в воде по песчаному дну осторожные шаги и, поймав мой взгляд, улыбнулась...

А мне тринадцать лет, ёлки! Кровь наполоам с гормонами!

Да и зрелому мужчине – каково бы ему было, если бы, даже летом, посреди улицы, девчонка бы перед ним юбку подняла?.. Он бы сразу в соляной столб превратился!..

Но у нас, у мальчишек в тринадцать лет, организмы крепкие.

Я и виду не подал, что у меня в тот момент внутри Хиросима грохнула.

Я спокойно вышел на берег.

Следом за мной и Надька. Вода даже не дошла ей до трусов, не замочила.

Половодье закончилось.

Илек опять стал мелким.

А послезавтра уже наступило лето...

Муравей

Первая прополка на помидорах – восемьсот квадратных метров. Вторая – тысяча. Это – норма. Считается, что второй раз полоть легче. Кто выполнит норму – получает два рубля пятнадцать копеек.

На поливе нормы другие: первый полив – четыре тысячи квадратных метров, второй и последующие – пять.

Поливщикам хорошо платили: за норму три рубля шестьдесят копеек. Большой насос качал воду издалека, из Илека, оттуда по глубокому валу (так у нас называли арык) вода приходила на поля Растсовхоза. На три – четыре тяпки. Это значит, на три – четыре поливщика. Земляной вал-арык в ширину мог быть до полутора метров, в нём можно было спокойно искупаться в летнюю жару.

Вал быстро зарастал травой, его чистили острыми тяпками. И на это тоже были нормы. Восемьсот метров, тысяча...

Мне тринадцать лет. После седьмого класса мама посоветовала мне пойти в совхоз на заработки. Всё равно каникулы, делать нечего! Я представил себе, что уже через месяц у меня появятся совсем уже дурные деньги, на которые я могу себе купить!.. И тут я просто терялся. Я даже не представлял, что я смогу купить на те деньги, которые заработаю!

Ну и вот я в поле. Не я один. Вокруг около десятка совхозных женщин. Растениеводство в нашем совхозе держалось почти исключительно на женщинах. Они пололи, выращивали рассаду, перебирали в холодных подвалах картошку. Мужчины были учетчиками, бригадирами, шофёрами. В середине шестидесятых мужчин ещё в стране было мало... Ну и, значит, я в рядах рабочего женского класса.

Вокруг пыль, жара. Прямые, жёсткие лучи казахстанского солнца. Женщины в поле – это такие пчёлки. Которые всё время работают, работают. И для них, кажется, нет никакой жары, нет этих огромных площадей, заросших сорняками. Сейчас туда, где жарко, опасно, трудно, пускают роботов. Нанотехнологии. Оглядываясь в шестидесятые, я начинаю думать, что в тех женщинах моего детства были установлены специальные наночипы. Чтобы работать весь день, когда на солнце пятьдесят градусов и не падать в обморок. Чтобы выполнять, а иногда даже и перевыполнять эти нормы в тысячи квадратных метров. Чтобы вечером те из них, которые ещё девчонки, успевали выкупаться, накраситься и прибежать в клуб на танцы...

Я, среди этой компании, был единственным мужчиной. Ну, и, старался, если не идти впереди всех со своей тяпкой, то хотя бы не отставать. Что оказалось делом не только трудным, но и для меня неподъёмным. Всё-таки норма в восемьсот метров, по моим ощущениям, была великовата.

Слегка отставая от основной группы всё дальше и дальше, я кое-как дотянул до обеда. Перекусить сели тут же, на планке помидоров. Вокруг – ни кустика, ни клочка тени. Достали свои свёртки. Бутерброды, бутылки с молоком, чаем. Хиханьки всякие, хаханьки. Шутят наноженщины, будто сидят где-нибудь на пляже, где море, пальмы, чайки...

Я тоже сидел рядом, улыбался шуткам, не всегда понятным. Элиза Шеффер обронила: «Мечты, мечты, где ваша сладость? Ушли мечты – осталась гадость...».

Почему гадость, когда мечты?.. – думал я, но ничего не переспрашивал у этих весёлых женщин. Только слушал. И тут...

И тут возникла неожиданная, очень неприятная для меня ситуация. Пока я, сидя на земле, жевал свой бутерброд, ко мне в штанину залез муравей. И не просто в штанину. Он там, под низом, добрался до самого верха и больно меня ужалил. Причём, не просто в ногу, а... Как бы это выразиться поделикатнее... Ну, как тут ещё скажешь – за яйца, – чего уж там!

Вот вы представьте ситуацию: вокруг девушки, женщины. Мне тринадцать. Я страшно стеснительный, ничего про девушек не знаю, только заглядываюсь на них издали, слегка побаиваюсь и тут... И тут вот эта проблема!..

И – ладно бы – укусил этот гад разок, да ушёл бы куда-нибудь к себе в муравейник, а – нет! Он ещё раз меня укусил. А потом ещё и ещё. Спокойно передвигался там внутри по объекту и издевался!

Вот я иногда задумывался, почему братья наши меньшие, вплоть до мельчайших насекомых, кусают нас иногда просто так? Или – кусают, а потом от них чешешься? Вот, к примеру, комар. Ну, хочешь кушать – ну, возьми, попей моей кровушки, но зачем ещё гадость какую-то впрыскивать? Уже и улетел давно кровопивец, уже и забыл про тебя, а на теле остался волдырь. И чешется, чешется...

А мне один биолог объяснил насчёт комара. Не такой уж он и злобный, оказывается. И все его поступки вызваны насущной необходимостью. Дело в том, что кровь у нас густая, а хоботок у комара тоненький. И не может он через него свободно из нашего тела попить кровавого коктейля. И потому перед процедурой впрыскивает комарик вещество, которое кровь разжижает. У вампиров – ещё и обезболивает. Ну, и – пьёт потом спокойненько. Потом улетает.

А мы чешемся, пока рассосётся в нас вся эта комариная химия...

Ну и – вот...

Кусает, значит, меня муравей. Бесстыдно и беззащитно. Кажется – пустяк! Только и делов-то – схватил террориста за лапки и выкинул подальше.

Ага! Это что? Встать перед всеми, снять штаны и – ПРОСТО ВЫКИНУТЬ? Да – лучше умереть!!!

И тут я ещё вот что хочу о себе добавить: я от природы интроверт. Все в себе. Слушаю, думаю, а выражать прилюдно свои эмоции не могу. Если и нужно когда, то делаю это через силу. Щёлкаю внутри себя переключатель, будто я публичный человек – и хохочу, там, выступаю...

Переключатель сработал сам, автоматически. И – вскочил я тогда, при очередном невыносимом укусе. И заявил присутствующим милым женщинам-труженицам, что хочу их развлечь, исполнив танец диких индейцев. Ну, очень диких. И стал вокруг них скакать, подпрыгивать, в надежде на то, что мой палач отстанет, свалится куда-нибудь, наконец.

Иногда – совсем незаметно, мельком, молниеносно, я ударял себя в то место, где должен был находиться мой мучитель. Потом похожие танцы я увидел в исполнении Майкла Джексона, Леди Гага.

Только у них, в сравнении с моей спонтанной хореографией, всё происходило в сильно замедленном темпе. Им нужно, чтобы все, до самой галёрки замечали, как и где они бьют своего комара. А в наше время это бы считалось неприличным...

Я скакал, я делал всё в таком темпе, что непристойных моих движений никто не должен был заметить... Не знаю, насколько мне это удалось... Но силы кончились. Я устал, охрип. Не индеец – каждый день не танцую. Но, кажется, помогло. Муравей затих. Отвалился, видать, гад, вывалился. И я только теперь заметил, что женщины, зрительницы мои, утирают слёзы от смеха, что очень по душе пришёлся им мой фольклорный танец. И даже похлопали мне в ладошки!..

Я присел доедать бутерброд. И тут... Смотрю, ползёт по треникам сверху, вылезает на согнутую коленку мой коварный обидчик. Сел на возвышении, усами шевелит, и – так – изумлённо голову наклонил, на меня поглядывает.

Сейчас я напишу такое, за что меня осудят всякие «зелёные» и защитники живой природы.

Но я напишу, я признаюсь. И не буду испытывать никаких угрызений совести.

Я – УБИЛ этого муравья!

Я с размаху шлёпнул его ладонью и размазал по коленке!

Так в классических боевиках в конце фильма убивают злодея: с удовольствием, с чувством глубокого удовлетворения!..

Я уже был один. Женщины ушли в поле, допалывать планку помидоров. Я схватил тяпку, побежал на свою полоску. Я так и не выполнил в этот день нормы. Женщины пололи быстрее меня и лучше.

Они закончили свою работу, вернулись ко мне и вместе помогли дойти до края моего участка.

Плеврит

В шестнадцать лет я попал в больницу. Экссудативный плеврит. Это такая штука, когда на лёгком образуется пузырь, внутри которого экссудат – жидкость. Что-то вроде ожогового пузыря. Жидкости в пузыре может быть до нескольких литров. И при лечении она, либо рассасывается сама, либо её откачивают специальным шприцом с толстой иглой, протыкая спину.

Меня поместили в железнодорожную больницу Актюбинска, потому что жил я в Раст-совхозе, который выращивал для железной дороги овощи и ей принадлежал.

Молоденькая и симпатичная врач-терапевт Боровая простукала меня по спине пальчиками, нарисовала на теле границы пузыря. Потом она каждое утро так меня простукивала. Потому что было назначено лечение, и пузырь должен был уменьшаться. Но он сокращаться не торопился. Хотя температуру мне сбили, и самочувствие моё почти пришло в норму.

Дни шли. А шестнадцать лет – они и в больнице шестнадцать лет. Это, когда тебе шестьдесят, можно лежать сутками напролёт на диване, глядеть в потолок и вспоминать БЫЛОЕ, а в юности, когда этого БЫЛОГО ещё нет, нужно интенсивно заниматься его созданием.

Я всегда заботился о том, чтобы моё «былое» потом мне самому, когда я буду лежать и глядеть в потолок, выглядело интересным. И, по-возможности, весёлым. Ну, и...

В палате у нас лежали совсем взрослые мужики. Им было по сорок лет, а ветерану войны Ларинскому и вовсе за шестьдесят. Сейчас таких уже не всегда берутся лечить.

Поехал наш друг семьи, Иван Иванович Афонин, в районную больницу, пожаловаться, что у него в животе болит, а ему сказали: – Ну, что же вы хотите – «старость». С тем старик психанул и уехал. Потом, правда, примчались, когда случился страшный приступ, забрали на «скорой», откачали.

Вообще – интересный это диагноз – «старость». Я о такой болезни раньше не слышал. В Актюбинске ушел из жизни родственник. Ему в справке о смерти написали «умер от старости». Я медицинскую литературу не читаю. Может, в последнее время, произошло открытие этой новой болезни, и только мне о том не известно?..

И тогда, свете последних открытий, совсем по-другому выглядит трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность». Вроде, как: «Тиф», «Чума», «Малярия».

Ну, в общем, попался мне на моей юной дороге Ларинский.

Несмотря на свой предсмертный возраст, он выглядел ещё совсем живчиком. Рассказывал, как любит ещё поозорничать со своей старушкой. У него было воспаление лёгких. Ему делали уколы, ставили банки.

Однажды, когда медсестра совершала над ним этот ритуал, я оказался поблизости. Худенькое маленькое тело Ларинского было распластано на постели. Сестра держала в руке яркий огненный факел, окунала его в стеклянную колбочку и затем быстро эту колбочку при-шлёпывала к спине Ларинского.

Я взял с тумбочки гранёный стакан и тоже, так же быстро, надел его на факел, а потом, сдёрнув с Ларинского резинку трусов, припечатал стакан к половинке его старческой жопки. Куда эта половинка тут же полностью и ушла. Медсестра вскрикнула. Ветеран почувствовал что-то неладное. Оглянулся и увидел, вместо исколотой своей ягодицы, стеклянную Фудзияму. Пришёл в ужас. Тут же вскочил. Стал подпрыгивать на кровати, кричать, что он участник войны, что он американцев по Германии сто километров гнал, а над ним издеваются!

Сняла с него стакан медсестра. В палате ещё долго стоял хохот. Смех – это лучшее лекарство.

Каких-то несколько минут ужаса Ларинского на несколько дней приблизили выздоровление каждого из нас.

Больница – такое место, где нет для медиков ни одной части на твоём теле, которую ты пытался бы от них прикрыть, либо, каким-то образом, стыдливо утаить.

Когда попадаешь в больницу, то, в первую очередь, выясняется, что у тебя ещё, кроме крови, биографии, есть ещё и моча, и кал. И – «это снимите», «тут покажите». «А какой у вас стул?..».

Машинисту тепловоза Зарубину из нашей палаты объявили, что будут у него завтра проверять кишечник, а для этого необходимо ему с утра поставить клизму.

Больница. Клизма. Обычное дело.

А Зарубин что-то заволновался. Его стали успокаивать – мол, совсем не больно, может быть – когда в первый раз, а потом даже и понравится. Но он всё равно переживал. И потом проговорился: стесняется он. Вот придёт какая-то медсестра, посторонняя женщина, он перед ней должен снять трусы, принять унизительную позу. Ещё как-то, если перед женщиной без трусов стать лицом – это одно, а вот, когда наоборот...

А тут как раз и я оказался поблизости.

– Да, что, говорю, – вы, Степан Фёдорович, так переживаете? Я сам вам в два счёта поставлю эту клизму. И без всякой медсестры. Зарубин посмотрел на меня недоверчиво. А у меня мама, в том самом Растсовхозе работала фельдшером. Разговоры в семье о всяких медицинских мероприятиях шли свободные, и границы понятий «стыдно», «стесняюсь», «неудобно как-то» были для меня довольно размыты.

Подумаешь – клизма.

Я авторитетно всё это изложил Зарубину. Сын фельдшера – это уже круто!

Договорились, что рано утром ко мне с «прибором» подойдёт медсестра, и я выполню необходимую процедуру.

Рано утром – ещё не включали радио – медсестра шёпотом меня разбудила. В руках она держала кружку Эсмарха. Вышла. Зарубин уже не спал. Возможно, он и всю ночь не спал. Господи, как будто ему замуж выходить!..

Объяснять ему ничего не пришлось. Разделся. Стал в позу спринтера на старте.

А я, хоть и был сыном фельдшера, но представление о всяких процедурах, об инструментарии имел довольно поверхностное. Под клизмой я подразумевал обычную резиновую грушу с небольшим наконечником. А тут принесли резиновую ёмкость с объёмом литра на два, да ещё с толстым кривым наконечником длиной сантиметров на двадцать. Не зря мой Степан Фёдорович боялся!

Ну, я так подумал – медсестра знает, чего для этой процедуры нужно, опытная, перепутать не могла.

Да и что там: вставил трубку, влил два литра в пациента – и все дела!

Фёдорович стоял, ждал. Я приступил. Сейчас сделаю – и обратно спать лягу. Но... Не пошёл наконечник. Я тихонько его вводил, но он как будто во что-то упирался и останавливался. Уж я и так, и этак. Степан Фёдорович кряхтит, терпит. А наконечник кривой. Думаю, может, если его проворачивать, то пойдёт? Как по резьбе? И правда, пластмассовая трубка стала уходить вглубь. Наверное, хитрая задница у этого Степана Фёдоровича, если только так с ним получается. Ну, вот, слава Богу! Поднял кружку Эсмарха повыше, жду. Пять минут жду – не идет водичка. Жду десять минут. Пятнадцать. Да, что такое? Выше кружку, ниже – не идет вода. Не хватает, видно, давления. Я тогда крепко сжал рукой сверху резиновую кружку, чтобы вода не вытекла и изо всех сил её сдавил. Против лома нет приёма. Получилось! Шланг отсоединился от наконечника, и вся вода, все два литра мощной струёй вылились на Зарубина...

– Твою мать! – заорал машинист.

Я не знаю... Ну, я же не специально...

Зарубин вприпрыжку, с наконечником, поскакал в туалет. У него уже не было никакой стеснительности. Он бежал по коридору без трусов и кричал: – Твою мать!!! Твою мать!!!..

Я пошёл за ним. Я хотел принести ему свои извинения. Я же хотел, как лучше... Но в туалете он, едва слышав из-за двери мой голос, стал опять неприлично ругаться матом, и мне пришлось уйти.

Я потом, уже в палате, пытался объяснить, что случилось непредвиденное, что я не хотел. Но кто поверит человеку, который три дня назад ветерану войны поставил на задницу стакан?

Зарубин и не поверил.

Потом независимое расследование определило, что накануне кружкой Эсмарха пользовались женщины и, каким-то образом, туда попал чай. Вернее, чайники, которые и забили наконечник прибора.

Зарубин всё равно меня не простил.

Лечение препаратами не помогало, и мне назначили день, чтобы откачивать жидкость из моего пузыря. Но...

Мне было шестнадцать лет, и в ту зиму я пару раз прокатнулся на лыжах с самой красивой на свете девушкой. Но два раза на лыжах – и всё.

И вот, когда я оказался в больнице, она неожиданно пришла. А потом стала приходить регулярно. Я не ходил – я не чувал под собой земли, я летал по больнице! Я всякий раз рассказывал этой девушке смешные истории, и она смеялась. А мне так нравилось, когда она смеялась. Наверное, несмотря на свои шестнадцать лет, я чувствовал, я уже понимал, что если девушка тебе смеётся, то ты ей нравишься.

И тут как-то утром врач Боровая, простукивая границы воспаления, не обнаружила их на обычном месте. Они значительно сузились. Потом ещё и ещё. Врачи не могли этого объяснить. Собирали консилиум, все стучали у меня пальцами по спине. Жидкости не было.

Плеврит сдал позиции, и через несколько дней состояние моего здоровья пришло в норму.

А болезни уже и не могло быть места в моём организме.

Потому что его весь уже заполнила Любовь...

Шенк

Мой преподаватель по баяну Виктор Фёдорович Меркушев посоветовал мне после десятого класса поступать в культпросвет. Два года я проходил в музыкальную школу и, как мне показалось, в музыке преуспел. Наверное, это показалось и моим учителям: они выдали мне Свидетельство об окончании этой музыкальной школы, в которой учиться нужно было три года, а я уже через два играл «Амурские волны», пьесу, которая завершала курс самоучителя игры на баяне. И – чего меня ещё держать?

На прощание Виктор Фёдорович посоветовал мне идти прямой дорогой в культпросвет, на отделение оркестра русских народных инструментов. В общем – продолжать свою блестящую музыкальную карьеру.

Экзамены в культпросвет я сдал на «отлично». Что должно было меня насторожить. В девятом-десятом классе в учебных дисциплинах я не выделялся, и будущему Рихтеру баяна учителя, случалось, даже за четверть, выставляли двойки.

Уже через две недели занятий в культпросвете преподаватель физики и математики Карл Каламанович Зайнуллин всему нашему курсу авторитетно заявил, что Дунаенко он на все предстоящие два года обучения освобождает от занятий. Слушателям были предложены задачи. Пока шло «два умножить на два» и «три умножить на три», аудитория кое-как ещё справлялась. Но, когда Карл Каламанович спросил, сколько будет «корень квадратный из четырёх», вся группа оказалась поверженной в ступор. Очевидно, само это жуткое сочетание слов – «корень квадратный» произвело на рекрутов культурного фронта такое шокирующее впечатление, что тишина в классе зависла... И тут я бесстрашно поднял руку. И в тишине ясно и чётко произнёс правильную цифру ответа.

Изумлению одноклассников не было границ. Карл Каламанович улыбнулся, потом улыбка его озвучилась сдержанным хихиканьем. После чего от занятий физикой и математикой я был освобождён с гарантией выставления мне в дипломе самых отличных оценок.

Ну, и с музыкой у меня поначалу шло всё замечательно. На переменках я брал в руки баян и наигрывал свои «Амурские волны», «Ямщик не гони лошадей». Публика, конечно, не сильна была в математике, но в основном состояла из музыкально одарённых подростков. Которые на эту самую музыку, едва её где-нибудь слышав, слетались, как пчёлки на мёд. И вот я сидел где-нибудь в центре внимания, а народ меня слушал.

От конкурса им. Чайковского меня отделяли каких-то несколько пустяковых лет.

И вот в это самое благодатное время, когда я был на пике своей музыкальной карьеры (я тогда, правда, не знал, что это уже был пик), мне сказали, что со мной хочет поговорить один заведующий клубом. Его звали Владимир Генрихович Шенк, а его сельский клуб находился в двадцати верстах от Актюбинска.

Шенку нужен был художественный руководитель. Он пришёл к нам в культпросвет, навёл справки и решил, что – вот оно, его художественно-музыкальное счастье – Саша Дунаенко! Мне этот завклуб так объяснил ситуацию: на баяне он может и сам играть. Но – злые языки на него капают, что за своё умение он, пользуясь служебным положением, начисляет себе лишнюю заработную плату. А советский народ приучили в таких случаях не дремать. И Шенк – от греха подальше – решил пригласить в штат отдельного баяниста. Тем более, что на носу был районный смотр самодеятельности, где нужно было не просто выглядеть на уровне, но и получить первое место.

Мне ужасно польстило, что слава о моём мастерстве уже покатила по Актюбинской области. Ломаться я не стал. Тем более что за мою работу Шенк пообещал ещё и какие-то сумасшедшие деньги.

Смотр я провалил.

Нет, сыграл я там неплохо. И обработки аккомпанеента хору и солистам приятно ложились на слух. Но...

Вот на небесах – оно расписано, кому лётчиком быть, кому врачом, кому – музыкантом. Я пошёл в музыканты, потому что в молодости перед нами открыты все дороги, все пути. И мы не только можем пойти, куда угодно, мы, куда угодно, и идём.

Я тогда не знал, что, для того, чтобы стать музыкантом, нужно не только любить музыку, не только иметь замечательный слух. Музыкантом нужно родиться. А, если ты родился парфюмером, то, как ты не загоняй себя в гаммы и арпеджио, как ни мучай часами пиликания на скрипке, натиранием мозолей на гитарах и балалайках – ничего из этого не выйдет! Бросай фортепиано, иди и – нюхай!..

И вот для того, чтобы мы выбирали в жизни правильную дорогу, для этого время от времени жизнь устраивает нам экзамены, смотры художественной самодеятельности. Щёлкает по носу, по голове. Если не помогает – жёстко даёт под зад пинка.

Ну, представьте себе: выставили на сцене хор. Там человек сорок – уже и не помню, но – полная сцена. После первого ряда – на лавочки поставили, чтобы было видно каждого солиста, дальше – на столы. Все нарядные такие, торжественные. Первая песня, про то, как Ленин побывал в каждом из нас: «Ленин в тебе и во мне!».

Я – сбоку, на табуреточке. Тоже нарядный, при галстуке.

Объявили номер. Замер зал в предвкушении партийного удовольствия. Вдохнул и напрягся хор.

А я... А я – забыл с какой клавиши начинать. Что-то задумался. Может, о той же Партии что-то думал. Может – о Ленине. Может – о хоре – как он стоит красиво и торжественно.

Ну, в общем – хор вдохнул, красиво стоит, а я в полном смятении вспоминаю, с какой же клавиши начинать мне свой профессиональный аккомпанемент. А, чем больше думаешь, волнуешься, тем всё безнадежнее...

Получилось, что выдержал паузу, как лучший артист Московского театра. И уже в момент, когда всем казалось, что всё рухнет, что всё накроется к чертям собачьим, в самое последнее мгновение я нашёл клавишу. Хор выдохнул...

Ну, место на смотре нам дали. И не самое последнее.

А с Шенком у меня состоялся потом серьёзный разговор.

Я, как обычно, приехал к нему в клуб, чтобы проводить репетиции, но моих артистов не было. Вместо них за обшарпанным столиком сидел Шенк с бутылкой портвейна. Пригласил к столу меня. Я тогда спиртного не употреблял совсем, поэтому просто присел рядом на табуретку.

Завклубом в гранёный стакан налил вина. Держал его короткими, толстыми, в густых рыжих волосинках, пальцами. И был он седой, лысый и старый.

Шенк в двух словах объяснил мне, что у него, хоть слуха и нет, но он никогда не сбивается, если играет на свадьбах, или кому аккомпанирует. И эту его способность в посёлке сейчас по достоинству оценили, и даже плюнули на то, что деньги за художественное руководство он будет начислять себе. Не мне, то есть, как уже было установилось, а, как раньше, себе.

Всё познаётся в сравнении. В данном случае сравнение оказалось не в мою пользу.

А ко мне у Шенка очень хорошее отношение. Он меня уважает. Ему со мной интересно и поговорить. И послушать мою игру.

И тут он разговорился.

Стал вспоминать молодость. Про то, как, вместе с родителями помыкался по ссылкам. Как им регулярно нужно было отмечаться в комендатуре, потому что немцы, потому что ссылки. Как их там по чуть-чуть унижали: «Руки как держишь?!.. В глаза смотри, в глаза!...». Потому что, исходя из национальности, были они враги Родины. Вот он, Володя Шенк, в ссылке родился и уже сразу – враг.

Семья врагов Родины жила в посёлке Богословка. Жила тихо, смирно, не высовываясь. По вечерам Володька Шенк, как и другие подростки, ходил в сельский клуб, на танцы. Из дома приносили пластинки, крутили их на простеньком проигрывателе. Танцы, да ещё под музыку! Объяснять ли, какой получался праздник, когда тебе ещё вдобавок столько лет, что ещё ни разу не целовался, до девушки не дотрагивался, и каждый вечер хотелось жениться. И музыка была невыносимо заводной, и свет слабой электрической лампочки казался блеском роскошной хрустальной люстры.

Конечно, Шенк всё это излагал проще, усиливая периоды речи сочными матерными вставками, но общая картина была именно такой.

– И вот – рассказывает Шенк, – пришёл он, как обычно, на танцы в субботу вечером со своим другом, Никитой Кучугурой. Топтались под музыку, тесно прижавшись к девчонкам, выходили на улицу покурить. И всё время у Шенка перед глазами вертелась дочка начальника местного военного гарнизона, Элечка Стексова. Юбочка коротенькая-коротенькая, взлетает при каждом движении. Кофточка полупрозрачная на чёрном лифчике. И всё время перед Володькой туда-сюда. Ещё так – обернётся, взглянет через плечо, усмехнётся!.. Волосы длинные, светлые...

Красивая, зараза, но Шенк в её сторону старался и не смотреть. Дочка начальника гарнизона!.. Дотронешься – и ты уже не жилец. Родители враги Родины, сам Володька из этого же змеино-го гнезда. Тут достаточно даже неосторожно посмотреть.

А как тут не смотреть?.. Вот, подошла Элечка, прямо перед Володькой встала спиной, пластинку на проигрывателе поменять. Приподнялась на цыпочки, нагнулась, чтобы иголку поставить... Юбочка короткая... Как будто специально...

И, в какой-то момент, скрипнул Володька зубами и прошептал, глядя на смеющуюся Элечку: – Ну, я тебя сегодня выебу!..

И вот это уже прочно, решительно засело у него в голове. И никакие инстинкты самосохранения уже в нём не работали. Чья дочь, что с ним может быть потом – ни о чём уже Володька не думал.

Вышли покурить с Никитой Кучугурой, Володька ему так и сказал: – Помоги, дружбан, эту заразу...

А Никита, что? Надо, значит, надо.

После танцев шутили возле Элечки, с ней разговаривали. Потом взяли её до дома проводить. Потому что темно уже и одной идти страшно. А у Никиты с собой китайский фонарик был.

По дороге девчонку схватили с двух сторон, затащили в кусты. Элечка не кричала, только сильно отбивалась и всё старалась укусь. Но Никита держал крепко. Даже посветил Володьке фонариком, когда тот что-то завозился.

– А пиздёнок у ней ещё совсем лысый был, – рассказывал Шенк, кротно улыбаясь юношеским своим воспоминаниям... – Дёргалась она, вертелась... Узко у ней там было... А я – молодой! Я бы тогда и через тусы ей всё пробил...

Потом девчонка вырваться перестала. Никита ушёл. Другу помог – чего тут рядом стоять? Шенк завершил своё мстительное дело. Эля всхлипывала, лежала, не двигаясь.

Володька сидел рядом, пока она не зашевелилась, потом сделала попытку встать. Володька ей помог, хотя Эля пыталась от него отстраниться.

Потом проводил её домой. Не рядом, а так – поодаль...

Шенк и Кучугура неделю прятались по сараям. Боялись, что Эля расскажет всё родителям и тогда обоим конец. Шенка бы, с учётом его происхождения, Элин папа смешал бы с землёй. А сверху бы танком прикатал Кучугуру.

Но всё обошлось. Начальник гарнизона Стексов получил новое назначение и вскоре вся семья из Богословки уехала. Ничего никому Элечка не рассказала...

Шенк вылил в гранёный стакан остатки портвейна. В мужских компаниях это означает конец разговора.

Мы расстались друзьями.

Я продолжал учиться в культпросвете ещё два года.

Хотя уже точно знал, что ни заведующего клубом, ни музыканта из меня не получится никогда.

Партизанские были

В последний год учёбы в культпросветучилище нам, будущим выпускникам, полагалось какой-то срок отработать практику в одном из клубов области. Потому что мы все, учащиеся Актюбинского Республиканского культпросветучилища, независимо от специализации, готовились быть, в первую очередь, клубными работниками. То есть, как предсказывал нам наше будущее преподаватель всех точных наук Карл Каламанович Зайнуллин – в любое время года открывать и закрывать замок на здании сельского клуба.

Руководство училища к практике своих воспитанников относилось дифференцированно. Например, наше отделение русских народных инструментов направили с концертами по области. И практика – мы могли своими глазами увидеть десяток-другой клубов и домов культуры, и – удовлетворение некоторых материальных интересов: на концерты продавались билеты.

Концертная программа состояла из нескольких компонентов: выступление оркестра, выступление домбриста-виртуоза Момына Байганина, песни русских и казахских композиторов в сопровождении оркестра. И ещё, конечно, с нами ездил конференсье – щеголеватый, подтянутый мужчина, который на сцене, в промежутках между номерами, профессионально шутил. Имени его я сейчас уже не помню, да оно и не имеет никакого значения, потому что, когда перед концертом в посёлке Бугетсай, вдруг выяснилось, что у нашего конференсье вдруг схватило горло – то заменять его выставили меня. А чего запоминать имя человека, который уже потом никогда в жизни не встречался. Вот мне сегодня Абдулов приснился. Лицо в гриме – он какого-то Пьеро играл, приехал на гастроли в Актюбинск. Ну, мы с ним ещё поговорили. Оказывается, когда-то мы с ним даже сфотографировались на фоне овощного прилавка. Я в тулупе и с бородой, а Абдулов – рядом стоял и чему-то радовался. Ну, так вот – Абдулова я почему-то запомнил, хоть и побыл с ним во сне всего минуту, а того конференсье – нет.

Несмотря на то, что мне пришлось его замещать.

Я так думаю, что на нашего руководителя оркестра, Сергея Георгиевича Цхе, я производил впечатление парнишки башковитого, хотя, как музыканта, возможно, и бездарного. Ну и, когда с конференсье случилась такая непредвиденная беда, меня уполномочили объявлять номера. Дикция у меня чёткая, лицо интеллигентное. А я и не стал сопротивляться. Во мне всегда сидела авантюрная жилка, которая заставляла ввязываться, порой, в весьма сомнительные предприятия. Ну, там – художественным руководителем, не имея ни одного часа опыта работы с коллективом, либо – Дедом Морозом на детские утренники. Я думал, что мне дадут Снегурочку и чуть не согласился. А, когда мне сказали, что Снегурочки не будет, что я должен делать ВСЁ САМ (?) и мне дадут за это три рубля (купишь водки бутылку, за два пятьдесят две, конфет!..) – я отказался категорически. Ещё вдобавок – приходиться со своим костюмом Деда Мороза!

Нет.

Я отказался.

А сегодня – конференсье? Почему бы и нет?..

Ну и немного о погоде. На улице и в Доме культуры посёлка Бугетсай стоял декабрь. Мороз – если снять с руки варежку и оставить в воздухе, то она зависала. Причём, без разницы – тестируете вы погоду снаружи Дома культуры, или внутри.

А выступать нам надлежало в белых рубашечках, с бабочками. Рубашечки были модными, нейлоновыми, так что заметно не согревали. На Сергея Георгиевича ещё был фрак – ему было теплее. Народ в зале собрался одетым по сезону: фуфайки, тулупы. Начальство в коротеньких дублёнках и унтах. От дыхания в помещении собирался пар. Но особо зал к началу концерта не прогрелся.

Теплее стало, когда заиграла музыка. «Кармен» Бизе, «Травиата» Верди, Чайковский, сцена из балета «Лебединое озеро». Потом вышла Александра Палий, и стало ещё теплее. У Александры был мощный голос, который вполне соперничал с полнзвучным сопровождением оркестра. Она пробовала раньше, как все, выступать с микрофоном, но у каждого, чуть ли не сразу, лопались перепонки. Александра спела «Заздравную» Дунаевского, и в зале наступило лето. Лиза Касьяненко пела тихо. Ей без микрофона никак. Но очень проникновенно она исполняла «До чего же он горек, сок рябины зимой!..». Суровый Сергей Георгиевич всегда в этом месте смахивал дирижёрской палочкой, случайно набежавшую, скупую мужскую слезу.

Я объявлял.

Всё шло, как по маслу.

И тут случилась заминка. Обычно всякие паузы в концерте у нас заполнял наш ковёрный конференсье. Но его не было. Вместо него был я, но заполнять паузы между номерами меня никто не учил. – Кто, если не я? – подумал я. И пошёл к микрофону.

А в детстве я очень любил читать книжки про войну. И мне запомнился эпизод из жизни и работы советских партизан. Наши партизаны были не только смелыми, но и хитрыми. Для того, чтобы свободно передвигаться по тылам немцев, они сформировали агитбригаду. И разъезжали себе, распевая песни, по оккупированным русским сёлам, собирая попутно сведения о живой силе и технике в фашистских войсках. О концертах своих объявляли заранее. Для того, чтобы привлечь внимание, использовали в заголовках такую надпись: «Съедение живого человека». И зрителей никто не обманывал. На концерте, действительно, объявлялся этот номер – «Съедение живого человека». На сцену приглашался желающий быть съеденным. Обычно желающего не находилось, и концерт продолжался.

Но однажды желающий нашёлся. Вернее, «желающая». На сцену вышла девушка в лёгком летнем платьице и предложила себя для эксперимента. Но наш конференсье-партизан не растерялся. Он сказал девушке: – Раздевайся! – Потому что не хотел он её есть, вместе с туфлями, бельём и ситцевым платьем. А девушка тогда смутилась, покраснела и убежала со сцены.

И я, вооруженный на всякий случай, хитростями наших партизан, вышел к микрофону и объявил номер «Съедение живого человека». Всё шло, как по писаному. Ну, прямо, совсем, как в той книжке, буква в букву. Как только я объявил свой смертельный номер и по рядам прошёл, прокатился первый смешок, откуда-то из середины зала поднялся молодой парнишка и стал протискиваться к сцене. – Ну, блин, – подумал я, а на публику стал кричать, как я рад, что нашёлся такой смелый человек, что, наконец, можно будет перекусить кем-нибудь свеженьким, а то всё консервы, да консервы...

А паренёк-то и вот он уже, на сцене. И уже стоит напротив меня, ждёт аттракциона. Глаза голубые, ватник, ботинки. Да, именно ботинки, не валенки, не сапоги. Это я сильно запомнил. Потому что, когда я сказал парнишке, что ему нужно раздеться, что одетым я его есть не буду, он стал раздеваться. Фуфайку стал снимать, стягивать свитер. Я взялся ему помогать: привстал на колено, начал ботинки расшнуровывать. Трудно было, шнурки заледенели. Попутно думал, что бесконечно это всё продолжаться не может. Всякой сказке приходит конец. Сколько верёвочке не вейся, а одежда скоро кончится.

И, правда. Одежда кончилась.

На парнишке остались только длинные семейные трусы, которые сейчас опять стали входить в моду.

Он стоял и смотрел на меня своими чистыми голубыми глазами. Я отпустил ботинок, который держал в руке – и ботинок остался висеть в воздухе. Пой не пой, а зимы всё-таки ещё никто не отменял. Мороз крепчал. На мне была нейлоновая рубашка с бабочкой и брюки. А на мальчишке – только трусы.

Я жёстко скомандовал: – Снимай трусы!

Можно догадаться, что всё это время публика к происходящему на сцене не оставалась безучастной. Хохот, одобрителные крики. В общем, пауза заполнялась нормально.

Мальчишка взялся руками за то место на трусах, где была резинка, и сказал нерешительно: – Нет... Нельзя...

Я так думаю, он за резинку держался на всякий случай. По-моему, у него были подозрения, что я с него могу снять эту последнюю тёплую одежду. И, если я думал, что у мальчишки, возможно, не все дома, то не исключено, что и обо мне он был похожего мнения. У меня в запасе была ещё пара попыток заставить этого представителя мирного населения сбежать со сцены. И я крикнул ещё два раза: – Снимай трусы, не могу я тебя одетого кушать!..

А потом – я понимал, что проиграл, что это мой позор, – потом я сгрёб в охапку всю его одежду – штаны, фуфайку, свитер – всё, что зима заставляет человека надевать на себя, и насильно вытолкал со сцены. Под хохот публики и аплодисменты, которые были, неизвестно кому, а, скорее, известно – не мне, это точно.

После этого я уже не заполнял пауз между номерами наших дальнейших выступлений, какими бы длинными они ни случались. И даже не объявлял эти номера.

После концерта Сергей Георгиевич смотрел на меня волком, хотя ничего не сказал.

Чувствую, что я заставил его сильно засомневаться в моей башковитости.

После сдачи государственных экзаменов я окончательно забросил свою артистическую карьеру.

Стал руководителем фото-кинокружков на областной станции юных техников.

Презервативы СССР

По улице посёлка нашего Растсовхоз шёл пятнадцатилетний Антон Фишер и пел. Он всегда пел. А мне было лет восемь.

Из коридора мы с дядей Витей Будницким выглядывали на улицу и увидели и услышали Антона.

«Антон Фишер опять поёт» – сказал дядя Витя. «Гандон, да?» – я ляпнул слово, которое подобрал где-то на улице и посчитал, что оно подойдёт сюда очень кстати.

«Не надо так говорить» – сказал дядя Витя. Он, к тому же, был ещё и мужем моей учительницы, Алевтины Николаевны.

Я спросил: «Почему?». Я, правда, не знал. – «Это плохое слово», – коротко объяснил мне дядя Витя.

Секса в СССР не было. Но презервативы выпускать приходилось. И не столько потому, что было, на что надевать, а, всё-таки, наверное, чтобы меньше было аборт.

Советские презервативы выпускались сухими, густо пересыпанными тальком. Чтобы резина не склеивалась и в решительный момент граждан самой свободной страны психологически не травмировала.

Выпускали их сухими безо всякого злого умысла. Никто не хотел специально досадить женщине, которая просто так, из предполагаемого удовольствия, а не для деторождения, решила отдаться мужчине. При Советской власти между мужчиной и женщиной, на момент их интимного сближения, возникала такая любовь, что омрачить её было невозможно ни тальком, ни каким другим, даже весьма крупнозернистым, абразивом. Деньги тогда особого значения не имели, поэтому отношения носили чистый, бескорыстный характер. Никаких тебе олигархов, никаких чиновников с окладами олигархов.

Так что на тальк и сухую резину никто тогда внимания не обращал.

Единственное, что могло создать в обществе социальную напряжённость, так это перебои в снабжении граждан великой страны «Изделием №2».

В 70-е в Актюбинске возникла именно такая ситуация.

Презервативы – это, конечно, не колбаса. Такой продукт, что о нём не поговоришь в очереди с единомышленниками. Не выйдешь с плакатом на улицу: «Даёшь, мол, презервативы!». Тут не только власти – даже друзья, товарищи по работе посмотрят на тебя, как на сумасшедшего.

Поэтому актюбинский народ молча терпел.

Ну, я тоже – как все. Но потом подумал: не на всю же нашу страну напал этот презервативный кризис? Может, есть где такие оазисы, где заветных этих резиновых колечек полным – полно?

Ну, и – решил разослать во все концы необъятной державы письма с просьбой помочь молодой семье дефицитным противозачаточным средством. Я знал, что в каждой области есть своё ОблАПУ – областное аптекоуправление. И там сосредоточено всё, что нужно для здоровья человека. В том числе, – как я подумал – и презервативы.

Послал – как вроде в шутку. Подумаешь – конверт пять копеек – и в любой уголок Союза. На ответы даже не рассчитывал.

К удивлению, многие откликнулись. Со всей серьёзностью из ряда крупных городов ко мне пришли официальные бумаги, в которых за печатью и подписью, с исходящим номером

сообщалось, что помочь мне не могут ничем и советовали обратиться в свое родное, Актюбинское ОблАПУ.

А вскоре пришло письмо и из самого ОблАПУ Актюбинска. Кажется, из Саратова им переслали моё послание, и наши провизоры оперативно отреагировали. В письме сообщалось, что, мол, дорогой Вы наш потерпевший, да как же это такое могло случиться, да презервативов этих у нас – хоть завались! И посоветовали заглянуть в ближайшую от моего дома аптеку, где меня уже ждут и готовы помочь справиться с замучившей меня проблемой.

Я не стал откладывать. Взял хозяйственную сумку и бегом отправился за покупками.

В аптеке протянул письмо первому попавшемуся продавцу. Девушка знакомилась с документом и, по мере прочтения, менялась в лице. Потом, что называется, прыснула со смеху, и побежала в подсобку. Оттуда минут через пять вышла, по всей видимости, заведующая, тоже в лице, состоявшем сплошь из улыбки, которая то и дело рассыпалась в «хи-хи». Покрасневшая аптекарша (и аптекари тоже краснеют) сказала, что, конечно, я могу получить то, о чём написано в письме, нужно только заплатить в кассу.

Товар отпускала заведующая лично. Когда я протянул чек, она задержала его в руке на секунду: «Что, на все?...». Я молча поставил на прилавок свою сумку. Её, так же молча, забрали, унесли в подсобку.

Слышал, как там долго чем-то шуршали, сопровождалось всё это «хи-хи», «ха-ха». Потом две молоденькие аптекарши весёлые и покрасневшие вынесли мне сумку, набитую, почти доверху, драгоценным изделием.

Я шёл по Октябрьскому бульвару. Летний солнечный день. Мне на голову свалилось такое счастье! Теперь я МОГУ ВЫКИДЫВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРЕЗЕРВАТИВЫ!

И представлял уже, как прихожу в гости к друзьям и делаю им всем неожиданный подарок...

* * *

Вспомнил упаковку с презервативами, где было указано, что изделия там №1. Наткнулся я на них, когда ездил в командировку в г. Хром-Тау, где жили шахтёры, и снабжение у них было особое. Поскольку никакого порядка в обеспечении презервативами нашего областного центра так и не наступило, я проявил к ним определённый интерес.

Ну, в общем, накупил я презервативов №1 полсумки. Боялся ещё – думал – как в Москве – закричит кто-нибудь в истерике: в одни руки только по три штуки!

Отоварили без ограничений.

Конечно, дома примерил – жмут, особенно у основания, да, что поделаешь!

Но зато узнал я после этого, что промышленность у нас о всяких людях думает, не всё клепают на одну колодку. Колодки, как минимум, две. Есть, так сказать, дифференцированный подход к нуждам населения.

И вот собрался я опять куда-то в командировку. Хожу по аэропорту, время коротаю. Подошёл к аптечному киоску, а там, на витрине, в уголочке, стыдливо прижалась «Изделия №2». Ну, я и спрашиваю аптекаршу: – А бывают ли у вас «Изделия №3»? (Знаю уже, что «№1» бывают, «№2» – на витрине, а что по поводу удовлетворения потребностей граждан ещё одной категории скажет мне специалист?)

Ах! Как на меня та аптекарша посмотрела! С какой уважительностью, с каким... восхищением! – Нет... – с искренним сожалением и гостеприимно улыбаясь – сказала полненькая женщина бальзаковских лет. И с сердцем добавила: – Вот сколько я работаю! – НИ РАЗУ!!!

Я понял, что тут мне надо бы изобразить горькое сожаление, почти муку.

Пара пустяков.

Сказал: – Заверните два.

Я спиной чувствовал, что женщина-аптекарь ещё долго провожала меня взглядом...

* * *

Аллочка Воробышева, четвёртая гражданская жена собкора «Правды» Голицына, слетала на выходные в Москву. Поделилась у нас в отделе впечатлениями. Я написал стишок:

Москва! Москва! Живот в восторге!
Продукт редчайший ест и пьёт.
Красивых тут без денег кормят,
И в мини ходит весь народ.

Захотелось в Москву. Не столько поесть – я тогда молодой был – сколько посмотреть на народ, который там ходит в мини-юбках.

Судьба мне улыбнулась. Выпал счастливый билет учиться в Москве целых пять лет. Нет, не все там ходили в мини-юбках. И даже – не через одного, (одну). Но с продуктами, действительно, было что-то фантастическое. Чай №36 у нас из-под прилавка, а в Москве – на каждом углу. Мясо на выбор – москвичи, скривившись, вилкой куски перебирают. А у нас долго в обкоме решался вопрос – можно ли, хоть на одном магазине в городе, написать «Мясо»?

Потом что-то у них щёлкнуло и-таки, разрешение дали. И появился на улице Скулкина в городе Актюбинске маленький магазинчик, на котором, как на рейхстаге, водрузили большую вывеску с надписью «МЯСО». Да, именно так, большими жирными буквами. Проследить и доказать какую-то связь между решением обкома дозволить существование магазина «МЯСО» и тем, что весь штат, а также руководство малого советского предприятия составили выходцы из Кавказа, было, конечно, невозможно. Даже намёк на это выглядел оскорбительным. Просто – решила партия сделать своему народу жизнь ещё краше, и открыла ещё один продуктовый магазин. А то, что на тот момент, совершенно случайно, попалась инициативная группа кавказцев – так на то он и случай.

Дальнейшая жизнь новой торговой точки показала, что лучше было бы её назвать «КОСТИ»...

Ну, чего это я отвлёкся... В общем – я в Москве. Сессию сдал без «хвостов». День отъезда. Время рассчитано по минутам. Где-то меня уже ждёт самолёт. В комнате общежития у меня по всем тумбочкам разложены драгоценные московские продукты. Всё нужно распределить на две руки. В одну – ручную кладь – её не взвешивают, подразумевается, что в сумочке пять килограммов, и её можно пронести в самолёт. И – чемодан. В сумочку, (скорее, портфельчик) насколько влезет, я накладываю стужёнку, тушёнку. Чемодан в основном забиваю замороженным, из холодильника, мясом.

Ну, всё. К полёту готов. Ткнул дверцу ещё одной тумбочки, а там!.. Мама моя родная! Там ещё целая гора чая №36!.. Как же я про него забыл!.. Куда его?.. А время – по минутам. Самолёт ждёт, но ждать он не будет.

Я хватаю трико, то, что с ногами, и забиваю его полностью. Перекидываю через плечо, как шинель-скатку, хватаю в руки портфель и чемодан и к выходу. Сделав несколько шагов от общежития, почувствовал, что идти не могу. Под тяжестью груза подгибаются колени. К трамваю не дойду. Пришлось ловить такси...

В аэропорту багаж нужно запаковать. Я бросил на ленту транспортёра набитое чаем трико. Когда оно подъехало к упаковщику, тот на момент замер.

Поднял руки с куском плотной бумаги, а опустить не может.

На ленте лежит полчеловека. Нижняя половина.

Потом паренёк сориентировался, быстро обернул бумагой странноватый груз, перетянул бечёвкой и отшвырнул дальше на ленту.

Кажется, всё. В руке у меня осталась «ручная кладь». Иду на контроль через металлоискатель. Вы не пробовали, держа в руках гирю, пройти с ней непринуждённо, будто у вас в руках борсетка? Станноватая, я вам скажу, получается походка. Но я старался. У меня сверхзадача: я – кормилец семьи.

Сумка благополучно проехала через телевизор, я пошёл проверяться на наличие оружия.

И тут... Зазвенел звонок! Что-то у меня металлическое обнаружилось. Может, ключи? Я полез в карман, выложил на столик ключи. Пошёл проверяться – опять звонок. Раз пять проходил, все карманы вывернул на столик для досмотра, а он всё звякает.

А! Вот ещё!

Презервативы!

Я же их ещё закупил в белокаменной! Дорвался! Обоймы по десять штук. «Обработано силиконом». «Проверено электроникой». Безразмерные. Срок хранения – десять лет! Запечатаны в алюминиевую фольгу. Вот где была зарыта собака! Алюминий!

Сотрудники аэропорта переглянулись, ухмыльнулись и дали знак проходить...

* * *

И вот наступили «нулевые» годы. Иду я по городу Орску, по центральной, имени Ленина, улице. Смотрю – «Секс-шоп». Наконец, в России, как и во всём остальном мире, появился секс. А с ним, конечно, и специальные магазины. Захожу. Глаза разбегаются – чего только нет! А презервативы! И гофрированные, и с хвостиками, с запахом клубники, апельсина, чёрной смородины. Ещё такие, что светятся в темноте!

Вот гофрированные, с хвостиками – это я ещё как-то понимаю, но зачем запах клубники? На гениталиях, насколько мне известно, нет органов обоняния, а там, где они есть, совершенно отсутствует опасность забеременеть...

Ну, ладно, Бог с ней, с клубникой.

Подхожу к продавцу. Спрашиваю взрослую женщину:

– А есть ли у вас презервативы без смазки? Такие, чтобы тальком пересыпанные, «№2»?..

Пока продавщица молча на меня смотрит, поясняю:

– Мы с подругой «садо-мазо», нам бы чего поглубже...

– А-а-а... – Продавщица сделала вид, что меня поняла. – Нету, говорит. Я не отстаю:

– Кончились, что ли?

– Нет, отвечает, – не поступало.

Ну, нет, так нет.

Наступил капитализм. Кончилась эпоха чистых, бескорыстных отношений между мужчинами и женщинами. Когда просто так, по сильной, духовной, идейно выверенной любви,

отдавались женщины своим избранникам. Когда радости полового сближения не могли навредить ни тальк, ни сухая ГОСТовская резина.

В новой, другой, современной жизни, для радости в отношениях уже стали нужны возбудители, смазки, удлинители пенисов и... запах клубники...

Но я запасливый. Где-то у меня в шкафчике ещё завалилась упаковочка «Изделий №2» знаменитого на всю страну Баковского завода.

У меня ещё будет возможность вспомнить лучшие годы нашей жизни...

Диссиденты 70-х

Слово «диссидент» я впервые услышал от Мулевича. Я уже был взросленький, уже, лет пять, как городской и работал на телевидении. Можете представить, какой детски-наивной была наша организация, что в ней о диссидентах никто не говорил, как будто их вообще не существовало. Ну, уж, у нас в облтелерадиокомитете – однозначно.

И вот появляется Константин Мулевич. С лохматой рыжей бородой, в потертых джинсах, обтягивающих худую, без живота, фигуру.

Живота у Мулевича не было по двум причинам: ну, наверное, таким родился, и – ел мало. И потому, что в театре, откуда его выперли, он получал то ли семьдесят рублей, то ли девяносто, и к нам пришёл, можно сказать, в зарплате ничего не потеряв. Приняли его на должность ассистента режиссёра третьей категории. Ниже некуда, но деваться Мулевичу тоже было некуда. Слесарем и токарем он не умел, потому что этому учиться надо, да он бы и не научился этому никогда. Мулевич знал и любил литературу, интересно рисовал. И был неплохим актёром. Амилькар в пьесе «Месье Амилькар» И. Жамиака. Всякие интеллигентные любовники – это было его амплуа. Красиво, ярко он говорил на сцене. Актрисочки начинали загораться к нему чувством ещё во время спектакля, и уже совершенно ставили его в безвыходное положение после, требуя четвёртого акта, но уже не игры, не пьесы, а настоящего, полового. В новых предлагаемых обстоятельствах он вёл себя достойно. Мулевич был исполнен благородства и никогда не мог обидеть женщину.

Только об одном случае он рассказывал, как бы извиняясь за несодеянное.

За Константином долго ходила по пятам, влюблённая в него без памяти, актриса Лупишкина. А любовь – такое чувство, что рано или поздно оказываешься перед ситуацией, когда нужно снимать штаны. Лупишкина к тому обнаруживала готовность в любой момент, но Мулевич почему-то уклонялся от прекрасной возможности обнаружить перед ней ответную открытость. И дело было не в возрасте, которого у Мулевича было уже сорок лет. Просто... Худющая была Лупишкина до невозможности и, что ещё хуже – всегда грустная, как Татьяна Буланова. Однажды Мулевич так, напрямую, ей и сказал: – Знаешь, Лупа, я люблю женщин ебать и смеяться. А тебя я буду ебать и плакать...

Лупишкина поняла. Отстала.

В общем, Константин обладал многими талантами, но, ни один из них в стране Советов не мог оплачиваться выше девяноста рублей в месяц. Для артистов, поэтов и художников, если у кого случалось вылететь из работы по профилю, были открыты все дороги, все пути в кочегары, грузчики, сторожа. Мулевич при росте метр восемьдесят весил не больше пятидесяти пяти килограммов. Какой с него грузчик? Ему положи на плечи мешок с сахаром – он под ним и умрёт. И кому будет помехой такой сторож?

Получалось, что у него в нашем городе оставалась одна дорога – к нам на телестудию. Где работали не за деньги, а по призванию. И ещё – потому что на телевидении работать было престижно.

И вот стоит, значит, Мулевич, на крыльце телестудии, я прохожу мимо. Сразу заговорили, будто знали друг друга тысячу лет. Ржали, хихикали. Вокруг, если присмотреться, очень много забавного. Ну, мы и стали обмениваться наблюдениями. Которые в этот и в последующие дни знакомства распространились от женщин до самой Советской власти.

Я узнал, что мы живём, как за колючей проволокой. Что у нас нет свободы слова, печати и собраний. Что у нас в стране есть политические заключённые. Я услышал фамилии Солженицын, Некрасов, Галич, Сахаров... Ну и – слово «диссидент». Мулевич очень любил хорошие книги. У него дома была небольшая библиотека, которая состояла из томиков, зачитанных до дыр. Их он регулярно уворовывал из библиотек нашей необъятной родины, когда бывал на гастролях. Ну, и наш родной город Актюбинск, где прожил несколько лет, тоже не обходил вниманием. Библиотекари были от Котика без ума. Он улыбался им, расшаркивался, целовал ручки. Кому могло прийти в голову, что в это время у него в джинсах неимоверная теснота от какого-нибудь Бабеля, или Кафки.

В Москве, в Ленинской библиотеке, он выучил наизусть «Девичью игрушку» Баркова и вынес её оттуда в голове.

И – главное! – впервые мною виденное! – Константин показал мне стопки машинописных листов, а то и просто записей от руки, которые назывались «самиздат». Там были Булгаков, «Роковые яйца», отрывки из «Архипелага ГУЛАГ»...

Каким-то образом Мулевичу удавалось вылавливать среди скрежета глушилок «Голос Америки», «Радио Свобода». Он пересказывал мне содержание радиопередач. Я потом и сам стал пробовать что-то поймать. Но не хватало терпения. Сильный шум, волна то уходила, то возвращалась вновь. Но одну передачу запомнил. Это было в дни, когда умер Высоцкий. О Высоцком рассказывал «Голос Америки». Биографию, воспоминания современников. Звучали песни поэта.

Я вот слушаю сейчас «Эхо Москвы». И прорываются иногда энтузиасты-патриоты, которые с болезненным упорством спрашивают журналистов радиостанции: – А сколько вам платят оттуда, из-за океана, за ваши передачи? И думается: – А сколько платят журналистам государственных СМИ? Почему их никто не спрашивает, сколько им заплатили за ту, или иную ложь? И заплатили, не спрашивая нас, из нашего же кармана!

Помню, как последовательно, день за днём, по телевизору рассказывали о том, как сам куда-то упал южнокорейский пассажирский самолёт. В газетах рисовали маршрут самолёта. Потом, не моргнув глазом, стали показывать нашего солдата, который в этого «Боинга» стрельнул. И солдатик говорил: – А вдруг этот «Боинг» нёс бомбу на мой мирный домик, где мои жена и дети?..

Враньё с Чернобылем, «Курском», Бесланом, Грузией...

Хорошо оплачивается, почему не врать?..

И почему Америка на свои деньги должна рассказывать нам о Высоцком, читать главы из запрещённых произведений?

Ну, ясно, конечно – чтобы развалить наше хорошее государство.

Можно ли развалить хорошее государство, рассказывая людям правду?..

Борода и джинсы в стране Советов были одними из признаков инакомыслия. Как я уже говорил, что такое «диссидентство» я не знал до встречи с Мулевичем, но про джинсы слышал, что это вещь хорошая и популярная. Даже видел, как по городу расхаживают, выделяющиеся из толпы парни и девушки с видом, который отличался от общепринятых стандартов. Естественно, мне тоже хотелось иметь джинсы. Я об этом желании сказал жене, на что она даже слова против не ответила. Она вообще никогда мне не возражала, считая это безнадёжным занятием.

Но я всегда с ней советовался.

Иногда уже после того, как совершал какую-нибудь безумную покупку.

В общем – жена согласна. Можно джинсы покупать!

И тут прохожу я по улице Карла Либкнехта и вижу в витрине киоска синие штаны. Дыхание перехватило... Подбегаю, спрашиваю у продавщицы: – Это джинсы? Тётенька на меня посмотрела с удивлением: – Да, джинсы. – А сколько стоят? – у меня даже во рту пересохло. – Четыре рубля. – Ответила продавщица.

У меня в кармане не было таких денег.

Я сказал: – А вы их можете попридержать? Я сейчас за деньгами сбегаю!.. – Пожалуйста, – ответила тётенька, – и посмотрела на меня с ещё БОльшим удивлением.

Я галопом побежал в нашу бухгалтерию, кричу: – Помогите! Скорее!..

Дома я примерил покупку. Теперь у меня есть настоящие джинсы! Правда, коротковаты. Да, ладно. Джинсы же! Только почему-то в зеркале я не выглядел, как те парни и девушки, которых я иногда видел в джинсах на улице. Кроме того, что были они короткими, широкими, они ещё и в зоне бикини висели мешком.

Мудрость, знание, опыт приходят с годами. Уже теперь я знаю, что мои джинсы-штаны были вьетнамского производства. Ну, и выглядел я, соответственно, как солдат освободительной вьетнамской армии. Не хватало только ихней панамки и автомата.

Эти «джинсы» оказались фантастически носкими. Я сменил уже несколько костюмов и купил себе, наконец, настоящие джинсы, а моё вьетнамское сокровище всё не рвалось и даже не выцветало. Я сто раз хотел его выкинуть, но не было повода. И, может, оно и к лучшему.

Сейчас в них щеголяет мой сын Витя.

Как-то он рылся в наших вещах, подыскивая себе что-нибудь для работы на огороде.

– Откуда у тебя брюки «капри»? – спросил он меня с удивлением. Добавил: – Почти новые!..

Мои вьетнамские «джинсы» обогнали время на сорок лет.

Чтобы уже покончить с темой о джинсах, расскажу о своих впечатлениях, когда я впервые надел настоящие, фирменные, джинсы.

Было ощущение, что половина моего тела оказалась в другом государстве.

И не где-нибудь, а прямо в Америке!

Вот, идёшь по улице – сверху у тебя и во все стороны – Советский Союз. С очередями, портретами лидеров нации и автоматами для газированной воды в жару без воды. А ниже пояса – небоскрёбы, «Кока-кола», Чарльз Бронсон, Элвис Пресли...

«В чём великие джинсы повинны?
В вечном споре верхов и низов
Тела нижняя половина
Торжествует над ложью умов»

(А. Вознесенский).

Перестройка, а потом и «лихие» девяностые показали, что инакомыслие может быть разным. И не всегда это – любовь к литературе, свободе, не всегда это попытки напомнить дей-

ствующим правителям о правах человека. Бывает и откровенная гадость. Но тогда, в семидесятые, понятие «диссидент» включало в себя именно эти понятия. Инакомыслие – это Гумилёв, Ахматова, это – портрет Солженицына, заложенный, запрятанный где-то глубоко среди страниц старых журналов. Это, в конце концов – тюрьма за свои убеждения.

Таких людей были единицы. Много ли их было в Актюбинске? Кроме Мулевича, я не встречал больше никого. И в жизни мне довелось познакомиться ещё только с одним человеком, который переписывал от руки произведения опальных писателей. Это петербурженка Лидия Романовна Луннова.

Тут хотелось бы остановиться вот именно на этом – переписывание книг от руки. Это как же нужно любить литературу, Слово, чтобы день за днём переписывать в тетрадку произведения любимого автора?! Сохраняя весь порядок слов, пунктуацию?.. Много людей вокруг меня любили литературу, книги. У многих были большие библиотеки, у отдельных – головы, как библиотеки, в которых хранились тома стихов, даты исторических событий, названия рек и замечательной прозы. Но вот таких, которые бы от руки, как в девятнадцатом веке, переписывали книги – таких было всего двое.

Сейчас в переписывании Булгакова, Галича уже нет никакой нужды. Достаточно на компьютере нажать кнопку...

Так вот, Луннова. Лидия Романовна Луннова...

Мы познакомились через «Книжное обозрение», обмениваясь книгами. Потом, при каждом удобном случае, я стал заезжать в Ленинград, куда меня всегда Лидия Романовна радушно приглашала. После этих встреч у меня сложилось стойкое представление о ленинградцах-питерцах-петербуржцах, как о людях с другой планеты. Они вежливые, внимательные, европейски-культурные. У них в квартирах много книг, они знают в своём городе все музеи, а в музеях – каждый закоулок. Они знают наперечёт все тропинки, где прогуливался Пушкин, а также, кто и когда повредил нос или палец какой-нибудь статуе.

Лидия Романовна разбирала по частям диван и доставала из потайных ниш книги, которые давала мне читать. Отпечатанные на ксероксе, в самодельных переплётках, нью-йоркские, парижские издания. «Воспоминания» Надежды Яковлевны Мандельштам, «Собачья душа» Михаила Афанасьевича Булгакова, «Реквием» Анны Андреевны Ахматовой. Тетрадки, с переписанными от руки, стихами Гумилёва...

Лидия Романовна всех своих любимых писателей называла по имени-отчеству, как друзей, среди которых она живёт, а они всегда где-то рядом, здесь, недалеко.

И в письмах, открытках, всегда писала «Вы» с большой буквы...

Когда я уезжал, в дорогу мне собиралась всегда целая сетка продуктов. И: – Саша, Вы не хотели бы взять книгу «Русско-английские историко-литературные связи»?.. Я смотрел на эту книгу из серии «Литературные памятники», знал, что она довольно дорогая для интеллигентской зарплаты Лидии Романовны. Ещё знал, что книга эта для меня слишком умная, что ещё нужно, чтобы прошли десять, двадцать лет, пока я до неё dorасту. И – отказывался...

Мулевича несколько раз приглашали на нашу актюбинскую Лубянку, на улицу Ленина, в здание КГБ, воспитывали. Он обещал исправиться, но у него не получалось. Однажды на него ночью напали какие-то отморозки, отвезли на машине за город и там избили. Добирался, как мог, пешком. Уличные ли хулиганы? Но какие это хулиганы будут вывозить человека за город, чтобы избить?.. Но и обвинить напрямую в организованной акции наши честные органы тоже было нельзя. Удостоверений бандиты не показывали...

А страна вся жила в постоянном ощущении, что за каждым из нас приглядывают. Этак заботливо, как за глупыми малыми детьми. Но наше поколение относилось к этому как-то беззаботно. Потому что непуганые мы были. И в лагерях мы не сидели, не пытали нас и не расстреливали.

И – вот как-то возвращались мы с другом Сашей Чернухиным из гаражей. Молодые и пьяные. Но – в меру. Выпили для лёгкого расслабления. Машину поставили, не за рулём – почему бы не выпить? А в советских гаражах вся обстановка всегда располагала к душевной выпивке. На перекрёстке расходиться по домам, Саша говорит: – Я тебя посажу на такси.

А мне домой пешком идти минут двадцать.

Пока я вежливо отказывался, Саша махнул рукой и остановил первую попавшуюся машину. Ею оказалась милицейская ППС. Нас туда с распростёртыми объятиями и приняли.

Саша выпил больше. И хотел поговорить с милиционерами о правах человека. Я, как мог, его сдерживал, потому что опасался за нашу внешность.

Привезли прямиком в вытрезвитель.

Содержимое из карманов – на стойку, устроили нам экзамен по физкультуре. Нужно было поприседать, потом указательным пальцем найти на лице нос. Я стал выполнять упражнения. Милиционеры уважительно поглядывали в мою сторону, перешёптывались: «Десять с половиной»!.. Я тогда был ведущим популярной телепрограммы. Присел нормально, нос нашёл быстро – экзамен сдал.

У Саши, после того, как он присел, встать уже не получилось. В общем, его в камеру, меня отпустили.

Я прибежал домой, сразу за телефон, к знакомым милицеским начальникам: – Помогите, – кричу. – Ошибка!.. Недоразумение!..

Поручился.

Потом опять в вытрезвитель – забирать друга.

Там меня уже ждали его родственники, немцы, родители со стороны жены.

Ну, и...

Саша на выходе внимательно просмотрел документы, потом стал пересчитывать копейки, которые ему вернули сотрудники вытрезвителя. Хотел продолжить дискуссию о правах человека. Тесть тихо, но крепко ухватил его за руку и зашептал на ухо: – Саша, пойдём!.. Вывели его из вытрезвителя, почти насильно.

Мне запомнился вот этот момент: страх, пришибленность в глазах родственника-немца. Он оказался в казённом помещении, перед ним были люди в погонах, Власть. Люди, которые могут сделать с человеком всё... Которые делали с человеком всё и чувство страха не истёрлось и никогда уже не уйдёт из памяти этих людей.

До 57-го года все немцы, регулярно отмечались в комендатурах. Многие отсидели в лагерях. Многие переехали в Актюбинск из ссылки, из далёких, холодных, безжизненных пустынь. Да, и не только немцы...

Те, кто отсидел, над кем надругалась советская власть, тоже были диссидентами. Потому что видели то, о чём нельзя было говорить. Все они были опасны потому, что ПОМНИЛИ. Потому что думали то, о чём думать нельзя.

Нельзя было об этом писать. Нельзя было читать...

Все – и читатели, и писатели автоматически становились врагами строя, антисоветчиками. Диссидентами.

Инакомыслием было слушать музыку Запада, которая однозначно именовалась «тлетворной», создавать в подпольных цехах красивые вещи ширпотреба, инакомыслие – не идти радоваться вместе со всеми на обязательные партийные демонстрации. Патриотизм – заучивать речёвки партийных съездов и доносить на ближних, готовиться к войне с проклятым Западом. Ведь, до сих пор нет у нас в России обычного патриотизма. Он у нас – «военно-патриотизм».

Но диссиденты семидесятых были передовой, лучшей частью нашего общества. Они искренне, не за славу, не за деньги сопротивлялись против тупого, жестокого, маразматического давления власти. Не все они были готовы выйти на Красную площадь, далеко не все открыто заявляли о своих позициях. Не всех удалось упрятать в тюрьмы, сумасшедшие дома.

Они читали, слушали Высоцкого. Выпивали и спорили на тесных кухоньках.

В 91-м из кухонь они вышли на улицы.

Тогда им казалось, что они победили.

Коркемжан

Коркемжан оказался моим соседом. Я переехал из Казахстана в Россию, поселился в глухой деревне, в Доме оператора газораспределительной станции, где меня уже ожидали земельный участок и пустой сарай. Дом находился на краю посёлка. Через дорогу начиналась улица, где и жил Коркемжан.

Он появлялся тихо, незаметно. Подтянутый, пятидесятилетний, смуглый лицом. С чуть коротковатыми, ногами. Стоял всегда, чуть от меня поодаль, смотрел, как я пытаюсь налаживать своё хозяйство. Приносил то пилу, то кувалду. Поддерживал доску, чтобы её удобнее было пилить. Доску, которую тоже приносил со своего двора.

Коркемжан производил впечатление человека, у которого не бывает проблем. В семье у него было семеро детей. Жена не работала. Сам Коркемжан получал за свою должность разнорабочего одну семисотую среднего заработка москвича.

Но как-то ему удавалось жить. Наверное, потому, что каждую осень в отделении колхоза выдавали «на пай» зерна и сена. Можно было выращивать свиней и барашков, коров, лошадей и кур.

В прошлом Коркемжан был знатным животноводом. У них с женой Валею насобиралось на книжке тридцать тысяч рублей. Дома всегда конфеты ящиками, ткань рулонами, у детей после каждой поездки на базар новые игрушки. Думали купить машину – не знали, какую. И, потом – Коркемжан то со своими овцами круглые сутки, то, случалось, выпьет, чтобы отдохнуть. Пока собирались – рубль рухнул, и вместо состояния осталось разбитое корыто.

А потом и всё совхозное хозяйство развалилось, и оказался Коркемжан на разных работах. То сторожить машинный двор, то лёд колоть вокруг конторы.

В такой ситуации кто-то уходил в безвозвратный запой, кто-то – уезжал из села. Кто-то вешался.

Коркемжан производил впечатление человека, у которого всё всегда хорошо. И, когда я с ним познакомился, я посмотрел на себя со стороны и подумал, что и у меня не так уж всё и печально. И даже местами весело.

И дальнейшая моя жизнь, благодаря Коркемжан, стала походить на сериал, в котором главным героям не очень-то везёт, но это и является комедийной составляющей фильма. Вообще все комедии построены, в основном, на том, что герой на экране страдает, а полный зрительный зал от этого укатывается со смеху.

Как овощевод со стажем, сразу по приезду в свою обетованную российскую землю, я обеспокоился проблемой выращивания картофеля. Весна, нужно подумать о том, что кушать зимой. А зимой мы в основном кушаем картошку.

Коркемжан сказал, что такой проблемы у них в посёлке не существует. Потому что можно договориться с трактористом, он вспашет в чистом поле участок земли любого размера, куда можно побросать картошку. И потом останется запомнить место и приехать туда осенью с лопатой, чтобы этот картофель убрать. Поливать не нужно, потому что рядом с участком обычно озеро, земля влажная. Ну, можно съездить пару раз прополоть. Но лично он, Коркемжан, никогда не ездил, потому что осенью эту картошку и так девать некуда.

Организацию всей посевной кампании Коркемжан взял на себя. Я не совсем поверил, но Коркемжан послушался. Мы легко соглашаемся, если нам обещают минимум трудозатрат и максимум прибыли, либо вообще халяву.

И всё происходило именно так, как и описывал Коркемжан.

Участок у озера был за бутылку волшебным образом вспахан, картошку я посадил, она взошла. До счастья оставалось три месяца. Рядом с моим участком росла картошка Коркемжана.

Урожай мы не собрали по двум причинам.

Дождей не было, а вид на небольшое озерцо ничем не мог помочь засыхающим кустикам картошки.

И ещё её, пока листья ещё не успели засохнуть, сожрал колорадский жук.

Мы с Коркемжаном этого жука видели. И мой друг сказал, что это суший пустяк. У них на ферме есть препарат, в котором купают овец. Если им опрыскать картошку, то все жуки погибнут. Мы прыскали, раз восемь. Жуки только жирнели. Поле воняло овечьим стадом, которое обработали чудесным препаратом.

Коркемжан очень удивился, что на жуков гадость, которую он приносил с фермы литрами, не подействовала. Хотя и раньше, как он припоминал, нечто подобное тоже наблюдалось.

К победе капитализма наш бывший совхоз, как и вся Россия, шёл своим, особым, путём.

Поэтому с различными проблемами местные жители пробовали справляться не на основе каких-то знаний, научных достижений, а с помощью средств, которые сами, на ходу, придумывали. Главным условием было то, о чём я уже говорил: чтобы средства были дешёвыми, а то и вовсе бесплатными.

У ветеринара Кантая на складе стояли бочки с разными жидкостями. И периодически на какую-то из них выпадал выбор сельчан. Кто-то пускал слух, что это как раз и есть средство от жучка.

После того, как очередной массив посаженного картофеля превращался в мертвую зону с чёрными обугленными стебельками, наступало некоторое затишье. Год-два с жуками не боролись, потому что дети просили покушать картошки. Потом Кантай распечатывал новую бочку, и эксперимент продолжался.

Некоторым образом в эксперименте оказался задействован и я. Я переехал в Россию и, вместе с её многонациональным народом, пошёл особым путём.

Спасло меня то, что я кое-где подстраховался.

Кроме участка в чистом поле, я посадил ещё пару соток и возле дома. Этот картофель я поливал и жуков травил старым, дедовским, способом: отравой из китайских ампул, которые закупал на базаре.

Коркемжан тоже легко справился с ситуацией: продал несколько овечек и купил картофель. С овечками у него проколов не было. Тут он был профи.

А ещё Коркемжан был замечательным строителем. Это он мне наглядно показал, что для строительства годится всякий подручный материал. А ломиком можно перевернуть земной шар.

Кто бы мог подумать, что навес на калитке в сарае можно сделать из куска брезента, старой мотоциклетной шины?.. Что железобетонную балку можно простым ломиком передвигать, практически, на любое расстояние и потом устанавливать в любое нужное место. Руками и – ломиком... (А, вообще – так уже когда-то строили пирамиды).

Коркемжан был идеально приспособлен к жизни, когда вокруг нет техники, когда нужную вещь, деталь негде купить.

Правда, в такой жизни не выстроишь коттеджа и никогда не будешь разъезжать на джипе, но с голоду не умрёшь. Как Робинзон.

В то время, как все мужики в посёлке стали впадать в депрессию и пить, Коркемжан пить совсем бросил.

И, естественно, стал первым парнем на деревне.

Но – жене не изменял. Только один раз, да и то – не было другого выхода.

По другую сторону от меня жила у Коркемжана прекрасная соседка. Стройная блондинка Вероника. Конечно, замужем. У соседки, как и положено, был муж Каиргали. Который Коркемжану тоже приходился соседом.

Как могут догадаться прозорливые читатели, судя по именам, в российском моём посёлке проживало много населения нерусской национальности. В основном казахи. Но много было и марийцев и чувашей, мордвы, был даже один ороч, Михаил. Ну, вполне традиционно азиатское население.

Интересно было наблюдать, как местная шутница, старушка Шалдыбейка, у вечно закрытого магазина рассказывала анекдот про казахов. – А, знаете, обратилась она к небольшой аудитории, которая расселась вокруг магазина на камнях, ожидая, что сегодня его, уж точно – откроют. – Знаете, – таинственно обратилась к сельчанам Шалдыбейка, – всех русских скоро выселят из посёлка!..

Казахи, которых было в селе большинство, а на тот момент у магазина и вообще очевидное преимущество, громким шумом высказали свежей новости своё одобрение.

А Шалдыбейка продолжила: – Тут у нас на казахах будут новую бомбу испытывать!..

Можно представить ситуацию: Шалдыбейка – марийка, старенькая, сморщенная, внешне от казахов почти неотличима. И – рассказывает такой анекдот, от которого все дружно смеются.

В посёлке не было, так называемой, национальной розни. Было полно смешанных браков, и вопрос о национальности никогда не стоял на повестке дня, если вдруг какая-то молодая пара хотела пожениться.

А Коркемжан, как мне казалось, всегда испытывал симпатию, влечение к женщинам европейской внешности. Есть у нас, у азиатов, какое-то необъяснимое к европейцам влечение. Мы им и завидуем всегда и всегда хотим трахнуть.

Мой актюбинский друг Юра Челищев уехал в Германию. И, хотя жена у него была немкой, рассказал мне как-то о тайной своей мечте – поиметь француженку. Собирался как-нибудь на одну ночьку выбраться в Париж, сходить к проститутке, настоящей француженке.

Господи! И где он сейчас во Франции настоящую француженку найдёт! Сейчас всё в лучшем случае по лицензии, а, в основном – контрафакт. А проститутки вообще народ универсальный. Хочешь Джульетту – я Джульетта! Хочешь француженку – я француженка! А половой признак, что у Гретхен, что у Пенелопы, что у Анжелики абсолютно одинаков, хоть на вид, хоть – уже данный нам в наших ощущениях...

И выбрал Коркемжан себе в жёны русскую девушку Лилу. Которая очень гордилась тем, что замуж вышла девушкой. Всю жизнь потом на каждом шагу всем об этом с гордостью рассказывала. И пересказывала. Потому что, согласитесь, случай редкий, если не сказать, уникальный. Девушке свою невинность сохранять не так уж и просто. Если по молодости, по глупости, вовремя не потеряет, то потом только и мысли, как об этом физическом дефекте-достоинстве.

И – чуть что – только случай подвернётся, девушка тут же о своей непорочности объявляет.

Со временем невинность и непорочность для девушки становится чем-то, вроде именного рюкзака с камнями. Который год от года становится всё тяжелее и тяжелее, но уже с ним как-то свыклось, сбросить уже боязно...

Я так думаю, что Коркемжан просто успел. Лиле было семнадцать лет, ну, и...

Соседка Коркемжана была русая, русская. Слово за слово через забор – и пропала женщина. Или мужчина, Коркемжан.

Сосед Каиргали Коркемжану вроде всегда был другом, а тут вот такое случилось. Информация о том, что у него под боком творится, не скоро до него докатилась. Ну, а, когда докатилась, то – не убивать же лучшую свою половинку. Убивать Коркемжана? Друг. Мужская дружба – это святое.

Так и жили все дальше.

А потом и Коркемжана Вероника разлюбила. Связалась с шофёром, который приезжал на уборку хлеба и с ним уехала.

Коркемжан свою вину перед другом чувствовал. Искал случая её загладить. Приглядел в соседнем посёлке, Калдавке, тихую скромную женщину, Жумагуль. И познакомил её с Каиргали. Взрослые люди приглянулись друг другу и сошлись. Хорошая получилась пара. И Коркемжан все последующие годы вёл себя корректно, не позволяя себе никаких вольностей в отношении новой соседки.

Жумагуль была маленькой, кривоноженькой, на лицо страшенькой...

Почти все годы, пока я жил в Слюдяном, Коркемжан был моим ангелом-хранителем.

Однажды выгонял я утром в стадо молодого бычка. Вышел он за калитку и закачался что-то, как пьяный. Прошёл несколько шагов и упал. Здоровый бычок. Месяцев пяти от роду. Ни с того, ни с сего – упал. Лежит на земле, дёргается, встать не может.

Побежал я к Коркемжану.

– «Мышка», – говорит, – у твоего бычка.

– Что за «мышка»?

– Шарик такой под кожей. Его можно руками нащупать. Этот шарик передвигается. Как до сердца дойдёт – бычок сдохнет.

– Что, нельзя спасти?

– Можно. Нужно взять плоскогубцы и эту «мышку» плоскогубцами раздавить.

Коркемжан нашёл плоскогубцы, и мы пошли к бычку.

Нащупали на его теле под кожей «мышку», она выскальзывала из рук, когда её пытались схватить, зафиксировать. Но всё же удалось. Коркемжан сжал плоскогубцы. «Мышка» хрустнула.

Бычок отлежался, через какое-то время встал, осторожно начал пощипывать окружающую его травку...

Как я уже говорил, у нас в посёлке никто не обращал внимания на национальные различия. Всё это распространялось и на взаимоотношения между собой животных.

Коровы – существа скрытные и обычно о своих сердечных тайнах не докладывают.

У нас в подворье были коровы мясомолочной, симментальской породы. Цвета кофе с молоком, ещё с белыми пятнами. Ну, и телята, естественно, каждый год получались, крепенькие такие, симменталы. А тут как-то принимал я отёл и увидел прибыль в виде абсолютно чёрной тёлочки. Видать, познакомилась наша Зорька с каким-то афро-российским бычком и отдала ему в прошлую весну всё самое дорогое.

Юную тёлочку назвали Феней, потому что в феврале родилась. А, уже по весне, наша Феня загуляла. Всё, блин, как у людей. Кто никак не может себе позволить интим до старости, а кто – расслабляется при первой возможности.

Отбивалась Фенька от стада, уходила в поля со взрослыми бычками. Где-нибудь, наевшись травы, у камышистого озера оставалась с ними ночевать...

Ну, и, дурочка, допрыгалась.

А потом пришла пора тельиться. Эмбрионы обычно не спрашивают, сколько маме лет. А Фенька сама ещё дитё. Какое там, материнство? Ну, раздуло её к следующему году, как барабан. Хоть ты корова большая, хоть маленькая, а телёнок развивается стандартный. И мы знаем у нас, у людей, если что подобное происходит, то вокруг собираются участливые медики, которые советуют гимнастику, витамины. (Если такое случается в школе, то и ещё добрые педагоги...)

У Феньки же – какое особенное питание? Год выдался неурожайный. Всё лето не было дождей, на сухих колючках с апреля по ноябрь. А потом – ячменная солома. Сена на зиму удавалось мало найти. Чтобы его хватило, ползими скотину кормили соломой. И, опять-таки, никакого фитнесу. Даже прогулки случались редко, потому что зимой замедляет всё вокруг с крышами, без бульдозера не подъедешь. Стоят коровы в сараях до весны, как в консервах...

В урочный час захожу в сарай, а Фенька лежит, стонет. Телёнок из неё наполовину вышел и застрял. Слабая молодая мамаша, нет у неё сил разродиться.

Я – опять к Коркемжану.

– Ничего страшного, – успокоил меня мой сельский друг.

Внимательно осмотрел роженицу со всех сторон, обвязал телёнка верёвками. Попросили мы Феньку поднапрячься, сами посильнее упёрлись – и телёнок вынули. Чёрненького, в мать. Оказался телочкой.

Летом её, середь бела дня, украли. Паслась в степи, недалеко от дома...

Куда бы человек ни попал, он в новой среде ищет точки соприкосновения. Если пьющий, то ищет, с кем бы реализовать себя в этом плане, если спортивный – пробежаться вместе трусцой. Рыболов ищет рыбака.

Как пьющему человеку, в посёлке для меня друзей нашлось предостаточно. Но у многих этот параметр зашкаливал. Пришёл я поздравлять знакомого тракториста с днём рождения, взял с собой бутылку пива. А он меня уже не узнал.

Бег трусцой я хотел возобновить с 1986 года. Откладывал с каждого первого числа на понедельник, потом – после Нового года. Только вчера с облегчением узнал, что бег трусцой, особенно нам, кому «за», может навредить.

Коркемжан, в отличие от подавляющего большинства мужского населения, не пил и... не ругался матом.

Можете ли вы представить себе сельского труженика, который трудится от зари до зари, ходит большую часть жизни в навозе и мазуте, временами без воды, временами без света, годами без телефона, туалет – зимой, в буран, в метель, на улице и – не матерится?..

Коркемжан на все трудности сельской своей жизни только улыбался, отшучивался. Придет ко мне в гости летом босиком, сядет на крылечко и смешно рассказывает, как управляющий его в очередной раз согнул, унизил. Что сдохла свинья. Или – в семье что-то такое возникло, от чего люди вешаются, а, оказывается, это очень смешно.

У меня тоже находилось, о чем порассказать, чтобы с Коркемжаном вместе посмеяться.

Вот такие были, очень трогательные у нас с Коркемжаном, точки соприкосновения.

А ещё он был... интеллигентным...

Нет, у него не было этой неперенной атрибутики – пенсне, изысканных манер, белого воротничка или галстука. У него не было за плечами не только института, но даже средней школы. Но...

Вот – как он приходил ко мне в гости... Он боялся прийти не вовремя. Выжидал недельку-две, чтобы потом зайти, как бы случайно. Мы пили чай, и Коркемжан, чтобы не нанести хозяевам материального ущерба, обходился одним кусочком сахара. Всегда чистый, выбритый деликатный.

Называть ли это интеллигентностью? Просто – воспитанный? Нет... Всё-таки интеллигентность – это воспитанность, которая завязана в комплексе с мозговыми процессами, интеллектом. Противоположность интеллигентности – хамство. И то и другое – наш, отечественный продукт.

Образование – это песня отдельная. Сколько мы знаем людей, будто образованных. И два, и три высших образования... Мы видим целую Государственную Думу – кого из них можно назвать интеллигентами, много ли их там?..

Коркемжан долго был без работы. Каждое утро ходил в контору, но подходящего для него занятия не находилось. Зима – вообще на селе мёртвый сезон. Всех рабочих до марта отправили в отпуск без содержания. А Коркемжан всё равно ходил в контору каждое утро, надеясь, что окажется где-то нужен. Семеро детей...

И чудо случилось. Его взяли на ферму сторожить скот!

Конец января. Вечер. Я поднимался на крыльцо, когда услышал радостное приветствие Коркемжана. Я узнал про его новую работу. Он кричал мне об этом через дорогу. И, что завтра он уже выходит. А это значит, что Коркемжан получит право на клочок добавочного сена, которое выдают рабочим отделения, мешок-другой отходов. В общем – счастье нашего сельского белого человека.

Утром я шёл доить корову и увидел, что перед домом Коркемжана бульдозер Кольки Краснослободцева старательно расчищает снег. Ничего особенного. Зима. Наши с Коркемжаном дома на окраине – их всегда заносило по самые крыши. Только никто с бульдозером на наш край не заезжал. Чего из-за двух домов жечь солярку?

А тут Колька ездил возле дома Коркемжана и взад, и вперёд и совсем не думал о солярке.

Что-то нехорошее почудилось мне в этой внимательности нашей сельской администрации.

Бросил ведро, подошёл к трактору. Колька остановился, наступил на гусеницу, спрыгнул: – Из больницы должны привезти Коркемжана. Ночью случился инсульт. В сознание не приходил...

Эта картинка – как в морозное январское утро ездит перед домом бульдозер, расчищает снег, запечатлелась, зафиксировалась у меня в памяти, хотя прошло уже много лет. Так чётко... Утро... Солнце зависло в густой морозной дымке. Снег под калошами скрипит. И – шум трактора...

Это так страшно...

Уроки

Владимир Васильевич сентябрьской ночью залюбовался. Темень, хоть глаз выколи, но звёздно. Искры рассыпались в небе и замерли. Изредка только с треском прорывается к земле оборвавшаяся звёздочка, сгорает, и в воздухе остаётся запах то ли бенгальской свечки, то ли озона. Пахнет ли озон? – задумался Владимир Васильевич. Прижал покрепче к груди пустые мешки и продолжил скорбный свой путь на деревенский ток.

Щедро полилось с полей зерно урожая 99-го. Весь день, до позднего вечера, свозили его на ток трактора и КамАЗы. Ночью сельские труженики приходили на ток воровать себе свой хлеб.

Владимир Васильевич шёл в первый раз. Переживал страшно, потел. Испытывал частые позывы к мочеиспусканию. У металлической сетки забора просидел почти вечность. Трудно было себя пересилить, пролезть в дыру, так сказать, окончательно переступить Закон. Все же решительно отбросил от себя остатки совести и вполз на территорию. Фонари безжалостно слепили глаза. К бурту, полному золотого народного добра, Владимир Васильевич полз, как вша по гребешку. И, стало быть, был замечен. Но шум на сторожевых вышках не поднялся. Никто из часовых не подал знак тревоги, не выстрелил. – Вот-вот выстрелят – предполагал свою возможную судьбу Владимир Васильевич и на всякий случай выставял из бурьяна тощий интеллигентный зад, а голову прятал, полагая, что так его никто не узнает, а ранение будет не слишком опасным. Хотя и знал наверное, что стрелять никто и не собирается. Добрый сторож дядя Троша во время обхода обычно громко стучал колотушкой по железкам, икал и кашлял, чтобы не застать своих же односельчан в неудобном положении.

Владимир Васильевич лёг на бурт. Ему захотелось закопаться в тёплое зерно и никогда из него не высовываться. Но время шло. Спешить нужно было, спешить. Наполняя два своих маленьких мешочка, Владимир Васильевич и не заметил, как неслышно подкрались две тени, припали рядом. Когда увидел, опять вспотел и тому подобное. Через минуту, можно сказать, оправился от испуга, а тени его спросили: – Владимир Васильевич, это вы? Тоже воруете?

Не зная, как ответить на первый вопрос, Владимир Васильевич удивился простоте и откровенности второго. Тени оказались его учениками, восьмиклассниками Юрой и Сашей. Владимир Васильевич был у них учителем словесности и не далее, как вчера, им же, равно, как и всему классу, рассказывал поучительную историю, которая случилась когда-то с колхозными огурцами. Мальчик Веня украл в колхозе с огорода пять штук огурцов. Об этом узнал старый мудрый сторож Матвей, пристыдил мальчика. Веня плакал, вернул огурцы на грядку и никогда больше не совершал таких нехороших поступков.

А вообще Владимир Васильевич и на селе и в школе был новичок. В апреле переехал в Россию из дружественной республики СНГ, где учителю русского языка уже не находилось места. Не сказать, что в деревне Слюдяное местное население встретило переселенца радостными воплями. Чужак он и есть чужак. А, если ещё городской, в очках и с целым прицепом книжек... Невидимая стена установилась между Владимиром Васильевичем и местным электротелекомом. – Путь здесь один – наставлял словесника директор школы, Борис Владимирович Чурсин: нужно, чтобы дворов двадцать у нас в Слюдянском стали носить вашу фамилию. Чтобы здесь родились и выросли ваши дети, внуки, правнуки. Долгий путь...

Но даже приступить к необходимой для этого близости холостяку Владимиру Васильевичу не удавалось. Поначалу мешали городские предрассудки. У молоденькой Анюты Петровны, учительницы первоклашек, Владимир Васильевич заметил волос под мышками. – Если она не бреет подмышки, то и весь остальной её интимный кутюр пусть останется тайной – осторожно решил для себя отравленный цивилизацией словесник. Правда, голод не тётка, и через определённый период Владимир Васильевич пристал к Анюте Петровне с ухажива-

ниями и даже подарил ей Кама Сутру. Но девушка отнеслась к нему холодно. Может быть, потому, что у неё в тот момент был женатый преподаватель физкультуры...

Но вернёмся к мешкам, золотому бурту и прекрасной сентябрьской ночи.

– Да, вору, – ответил шёпотом своим ученикам Владимир Васильевич. Да, это я, – добавил он, окончательно во всём сознавшись.

– Давайте мы вам поможем – сказали старшекласники. Они подхватили мешки великовозрастного коллеги-подельника и бесшумно потащили к дыре в заборе. Тёплая волна благодарности залила учительскую грудь.

Владимир Васильевич всё-таки подобрал свою совесть, валявшуюся невдалеке от забора, стал толкать к дому тачку, а в голове от совести появлялись разные мысли. Что бы мог сказать я этим детям? – думал мыслями Владимир Васильевич.

А я хотел бы им сказать. Ведь я – учитель литературы. А, значит, жизненной правды, чести, совести. Я не оправдывался бы, нет. Я сказал бы им, что в судьбоносной и архидуховной стране произошла чудовищная переоценка ценностей, и героями современных былин стали проститутки и киллеры. А учителя, с его высшим образованием, опустили, довели до положения Иванушки-дурачка.

Что гимном этой страны уже давно нужно сделать «Мурку»...

Так подумал, но никому всё равно потом не сказал, не высказал осторожный учитель русского языка и литературы Владимир Васильевич Горбачевский, обретя свою совесть и волоча всё же к себе в жилище заветные мешки с отворванной пшеничкой.

Следующее утро, утро бабьего лета, было просто удивительным, и не только потому, что остывший неподвижный воздух пронизали тёплые солнечные лучи, скрешиваясь с волнующейся паутиной. По дороге в школу Владимир Васильевич встретил многих односельчан, и они почему-то улыбались ему открыто, по-доброму. Стена растворилась, упала. И легче задышалось в подёрнутом ультрамарином воздухе сентября.

А на уроке Владимир Васильевич спросил про огурцы, и раньше всех подняли руки Саша и Юра, и ответили они лучше всех. Они, как и все остальные ученики класса, школы и, как всё село, знали, *что* нужно отвечать, когда тебя спрашивают, и как вести себя на самом деле, чтобы выжить.

А вечером Аня Петровна сама подошла к Владимиру Васильевичу и в этот же вечер ему отдалась в немыслимой для того обстановке. Она как будто внимательно прочитала Кама Сутру, но поняла всё наоборот. И Владимир Васильевич потом никак не мог пригладить вставшие ёжиком, но гладкие прежде волосы.

А ещё на следующий вечер местные парни набили Владимиру Васильевичу морду. Чтобы не портил девок, или, там, не углублял их испорченность.

Потом вместе выпили. Помирились.

В общем, жизнь налаживалась.

11.10.99г.

Михаил Дмитриевич

Михаил Дмитриевич Смурыгин. Чудаковатый старикашка, который сидел у нас на редакции пропаганды. Работал раньше редактором районной газеты, но его оттуда выперли за невинную шалость. По согласованию с коллективом, устроил он в газету на должность корреспондента мёртвую душу. В дни получки на эти деньги приобретался алкоголь, закуски, и редакция гуляла.

В стаде выпивающих и закусывающих нашлась паршивая овца, которая потом и стала вместо Михаила Дмитриевича редактором газеты.

В наш телевизионный коллектив Михаил Дмитриевич вписался легко. Несмотря на древний возраст, а ему было тогда уже лет 60 или 80, Михаил Дмитриевич оставался мальчишкой и неисправимым шалуном. На очередной междусобойчик мы купили две бутылки по 0,7 хорошего вина, чего, конечно, было мало, но денег на тот момент у нас тоже было впритык. Ну и собрались тут же, в редакции, выпить, закусить конфеткой «Дюшес» и поболтать. Нет, скорее, так: выпивать по чуть-чуть, и болтать, болтать, болтать.

Что может быть для журналиста привлекательней, чем болтовня, обычно, собственная.

Михаил Дмитриевич схватил бутылку и побежал к стенке с криком: «Сейчас открою». Раньше, в подобных ситуациях, бутылку у него удавалось перехватить: пробку, чем придётся, просто проталкивали внутрь сосуда. На этот раз не успели. Михаил Дмитриевич приложил к стене журнал со звонками телезрителей, размахнулся и от души хряпнул об него доньшком бутылки. Как и следовало ожидать, бутылка разлетелась вдребезги, а вместе с ней и драгоценный напиток. Ах! – как в кабинете запахло! Удивился происшедшему один Михаил Дмитриевич.

Хотя потрясение от преждевременной утраты испытали все.

Но оставалась ещё одна бутылка, которую уже от Михаила Дмитриевича уберегли, и пили её по каплям, долго, только для продолжения умных бесед о творчестве и о профессии журналиста. Это уже после придумали, у кого занять, чтобы купить бутылочку водки, а потом получилось так, что выпили ещё четыре и разошлись по домам уже совершенными свиньями. И то: не всем удалось сразу попасть в свой дом, случились досадные недоразумения. К примеру, Арамис перепутал направления и несколько километров шёл по проспекту в противоположную сторону. Куаныш двигался на автопилоте, но предварительно забыл установить в программу домашний адрес и по пути застрял в какой-то женщине, которую утром не мог узнать. Ключевский стучался к себе в дверь, плакал, просил, чтобы пустили, что это в последний раз. Открылась дверь напротив, оттуда вышла жена Ключевского, Соня, и на пинках, не давая встать на ноги, загнала в квартиру пьяницу и забулдыгу. Дверь, в которую стучался Ключевский, так и не открыли.

Но вернёмся к началу этого праздника. Уж так получилось, что Михаил Дмитриевич из-за своего экстравагантного поступка стал героем дня. Он, так сказать, задал тон всему мероприятию. И, когда мы выпили по первому кругу, я его и спросил: «Вот вы, Михаил Дмитриевич, участник Великой Отечественной войны. А случалось ли там с вами что-нибудь забавное, весёлое?». Блаженно вдыхая аромат вина, разлитого по кабинету, Михаил Дмитриевич отвечал: «А как же!». И рассказал о том, как в первый день, по прибытии на передовую, поставили его в лесочке охранять сон бойцов. Выдали ему автомат и приказали ходить вокруг бревенчатого домика, внутри которого, прямо на полу, рядом, улеглись отдыхать солдаты. Но топтаться, по сути, без дела, рядовому Смурыгину показалось тоскливо. Раз, другой прошёлся он вокруг домика. И в пятый и в десятый. А потом подумал: вот у него в руках автомат. А каковы его возможности? Пробьет ли он, к примеру, стенку из толстых брёвен? И, не долго думая, рядовой Смурыгин нажал на курок и аккуратно прострочил по середине бревна. Оказа-

лось – сильна наша советская техника. И с таким нашим оружием мы непременно победим проклятого фашиста. Потому что пули из автомата Смурыгина прошли толстое бревно насквозь и повтыкались в деревянный пол, прямо напротив ряда подушек, на которых лежали головы наших советских бойцов. Никто физически не пострадал. Выскочили все из дома в подштанниках. Когда узнали о том, что это Мишка Смурыгин опыты с оружием производил, дополнительные испытания, его чуть тут же самосудом не убили. Потом ещё раз хотели расстрелять через трибунал, но назавтра намечался бой, и трогать молодого озорника не стали. Решили простить, потому что всё равно его должны были убить завтра. И завтра был бой. И такой, что, действительно, в живых почти никого не осталось. А рядовой Смурыгин потом дошёл до Праги а, впоследствии, и до нашей редакции, где всего минут двадцать назад с успехом разбил об стенку бутылку вина.

Из нас всех он был единственным, кто в тот вечер достаточно твёрдо оставался держаться на ногах и пошёл домой. И попал домой.

17.11.2003г.

Луна в стакане

Я любил выпивать с Горбачевским. Работали вместе. Пили вместе. Обычное дело. Но это не было обыкновенное пошлое пьянство, чтобы просто залить мозги и потом покуражиться. Покуражиться я мог и без выпивки. Так было даже интереснее. Нет. Выпивка с Горбачевским – это был маленький театр, он же ресторан, он же – диспут, литературный вечер и пр. Заседания нашего маленького клуба пьяниц на двоих обычно происходили спонтанно. Расписание составлял случай.

Ну, вот – например. Собралась наша сотрудница, сослуживица Маринка Никитина среди лета поехать к своей подруге в гости в далёкий посёлок Батамша. Купила бутылку бальзама «Абу-Симбел». Дёшево. Вкусно. И сердито. Литр крепкого напитка. Пошли все вместе – я, Маринка и Горбачевский в обед на автобусную остановку. Кому куда. Мы с Горбачевским – по домам, Маринка – в гости. Шла, покачивая бёдрами, впереди нас. Туфли на шпильках. Платье тонкое, в обтяжку. На спине запредельный вырез.

И тут, прямо на ходу, пластиковый пакет с бутылкой выскальзывает из Маринкиных рук и с глухим звуком падает на жёсткий асфальт. Из-за нас всё это случилось. Шли, пилились на вырез – вот и ослабили у человека руки...

Бутылка счастливо разбивается. Я успеваю схватить пакет, в котором среди коричневых осколков плещется подарочный бальзам. Который настоян на тысяче и одной трав, и который нужно принимать для здоровья за полчаса до еды по двадцать капель.

Горбачевский ныряет куда-то в кусты и через секунду появляется с литровой банкой. Как будто он уже заранее её туда спрятал.

Или – под каждым кустом лежала литровая банка?

Мы аккуратно перелили бальзамчик из пакета в банку. Ни одна капля не пропала. Потому что мы постояли ещё ровно столько времени, пока последняя капля, повисев не кончике пакета невероятно долго, не упала, наконец, в нашу посуду.

Маринка расстроилась, ушла. Про банку даже и забыла.

Положение было безвыходным. Нужно было срочно выпить пролитый бальзам. Чтобы он не пропал. Спасти продукт. Но – не делать же это посреди улицы. Мы же интеллигентные люди.

Горбачевский жил рядом.

Ещё с утра настроение было каким-то неопределённым. Тоска на работе. Начальник пришёл и сообщил ежемесячную новость: нужно написать планы, отчёты. От этого даже солнце будто бы стало светить не так и не с той стороны. До обеда все валялись дурака. Всё откладывали нудную процедуру на потом. Но планы и отчёты – это как необходимость посещать туалет. Сколько ни откладывай, а избежать нельзя никак. Потом прямо всё бросай – и делай.

Ну вот – о настроении. После того, как в наших руках оказалась банка с целебным бальзамом, солнце опять засияло своим особенным, радостным блеском. Горбачевский даже стал себе чего-то под нос напевать.

Наши ноги, не сговариваясь, понесли нас к дому моего друга. Забегая вперёд, скажу, что как истинно русские люди, на работу после обеда мы уже не пошли. Какая уж тут работа! После бальзама, конечно же, купили бутылку водки. Потом брали чего-то ещё.

Но пили мы не просто так. Простую процедуру распития спиртного Горбачевский всегда старался превратить в праздник. Ну, может, это сильно сказано. Когда в хрущобке на маленькой кухне два мужика, в конце концов, напиваются в ушат – какой это праздник – скажете вы? А вот и зря сомневаетесь. Мы не набрасывались на бутылку сразу. Горбачевский вываливал на стол содержимое холодильника и начинал придумывать закуски. Всякие бутерброды, салаты, канапе. Всё, что можно сделать за пять минут – но вкусно и, главное – красиво.

Мне никогда не приходило в голову заниматься с едой всякими глупостями перед тем, как её съесть. Но, наверное, была в этом какая-то тайна.

Которая помогает маленькому бизнесмену из копеечной картошки делать рублёвые чипсы. А официанту в дорогом ресторане на глазах у клиента выжимать из обыкновенного лимона сто условных единиц.

Бальзамчик пошёл очень даже хорошо.

Мы пили его с крепким горячим чаем.

Поговорили о новинках литературы. Стопочка. Длинный тост с хорошими словами в адрес хозяина. Поговорили о кино. Стопочка. Длинный ответный тост – в адрес гостя. Обязательное, неторопливое закусывание.

В это время кто-то из нас обратил внимание на телевизор. Он чего-то вещал, но – сам по себе. Оказывается – как это мы раньше не заметили – по телевизору шла передача «Ленинский университет миллионов».

Мы решили под неё станцевать. Диктор уныло бубнил текст про непрерывное и победное шествие социализма по нашей стране. И мы под это танцевали.

В те времена на кухнях тихонько посмеивались над властью. Мы над ней потанцевали.

Я вспомнил об этом уже на другое утро, когда проснулся, встал с кровати и сделал по комнате первые шаги. Очень болели пятки.

Подробности того дня и вечера я опускаю. Пришла после работы жена Горбачевского, выгнала меня нецензурными словами. Самого хозяина оставила в квартире, чтобы бить. Это уже неинтересно. Это уже называется «Любишь кататься – люби и саночки возить».

Вот так мы иногда проводили свои неожиданные досуги.

Для Горбачевского я никогда не мог сделать равноценного ответного жеста. Я ничего не могу делать красиво. Я не понимаю, как выбирают костюмы, рубашки. Как сочетаются различные цвета. Меня несколько лет стригла одна и та же парикмахерша. Я к ней ходил не потому, что она была великим мастером. Стригла она меня всегда под какой-то асимметричный горшок. Но с ней всегда было приятно поговорить. А последствия стрижки зарастали и становились почти незаметными уже через две недели.

А Горбачевскому я как-то позвонил и сказал: – Приходи в парк Пушкина. Ночью, часам к одиннадцати. Есть дело.

Была зима. Самые морозы. Ночь. Полнолуние января. Я потеплее оделся, запрыгнул в скрипучий дырявый автобус и поехал на встречу. С собой я захватил бутылку водки, два солёных огурца и два гранёных стакана.

Я давно хотел выпить ночью на улице стакан водки. Закусить солёным огурцом. Чтобы обязательно зимой, в мороз. При свете полной луны.

Горбачевский моему звонку не удивился и лишних вопросов не задавал. Явился, как штык. Как всегда, элегантный. В длинном приталенном пальто. Большой шапке. В высоких, ружим мехом наружу, сапогах. Пошли в скверик, стали позади бюстика красному аскеру Джангильдину. Был в гражданскую войну такой герой, который для большевиков хорошо проредил коренное население.

К Пушкину не пошли – там светили фонари, а нам была нужна луна.

Повозились с пробкой. Не всякую бутылку при социализме легко было открыть.

Вот... Наконец... Чуть звякнуло горлышко о стакан, Забулькала водка.

Ещё стакан.

Наконец-то! Вот оно – зачем мы здесь!..

Я поднял стакан так, чтобы голубой луч луны попал внутрь стакана. В его гранях он сделался кристально хрупким, завспыхивал, заискрился иглами-бликами от живого волнения водки.

Горбачевский сделал то же самое. – О – о – о!.. – Вырвалось у него.
Конечно!.. Это тебе не канапе на палочке...

Я опустил стакан:

– Ну, что? За нас? За мужиков?

– А то!

Звякнули стаканы – чокнулись.

Холодную водку выпили разом, до дна, крупными глотками. Огурцы были наготове.
Похрустывая, мы ими закусили. Огурцы тоже холодные. Солёные. Всё – в самый раз.

Горбачевский выкурил сигарету. Я не курю – постоял рядом просто так.

– Ну, что, до завтра?

– Ну, да, пока.

Сверху, с горы, к парку имени Пушкина, гроыхая, подъезжал пустой дырявый автобус.
Я очень легко запрыгнул в раскрывшиеся двери. И даже сел у окошка на ледяное сиденье.

Домой шёл не торопясь. Среди сонных пятиэтажных улиц громко скрипел под ногами
замороженный снег. Воздух пахнул яблоками.

Внутри груди ровно горело пламя выпитой водки.

И среди притихших звёзд, близко, почти рядом, плыла надо мной яркая, полная луна...

«Tirit kivi»

В августе оказался у моря. Путёвка. Отель «Тара» в Черногории, море – Адриатическое. Тепло. Пальмы.

Утром выхожу первый раз на тропинку, которая ведёт к пляжу. Первое, что бросилось в глаза: как изменились женщины! Раньше вокруг были женщины по возрасту очень разные, ввиду чего интерес к ним оказывался весьма ограниченным этими самыми возрастными рамками. Раньше было много взрослых, пожилых и старых женщин. Сейчас я их практически нигде не замечаю. Все молодые, все хорошенькие. Мне уже за шестьдесят и почти все женщины моложе меня. Соплячки. По отношению к сорокалетней женщине я чувствую себя педофилом.

Когда тебе за шестьдесят – как прекрасен этот мир – посмотри!

В номере со мной интеллигентный человек – Юлий Эрастович, научный сотрудник. Между нами почти пропасть: я – простой рабочий, Юлий Эрастович – большой начальник в своём интеллигентском кругу.

Естественно, что у меня всякие, свойственные моему сословию, порочные привычки. Я не про женщин – нет. Общение с Женщиной – это поклонение, это – молитва. Порок – это когда, например, «не укради», а руки чешутся. Ну, это, как теперь принято говорить, ИМХО.

И вот говорю я соседу своему по номеру, Юлию Эрастовичу: «Я видел, что во дворе соседнего отеля киви растут!...». – И что? – приподняв очки и оторвав глаза от кроссворда, спросил меня учёный сотрудник. – Ну, это, – говорю, – надо бы ночью слазить! Юлий Эрастович на секунду задумался: – Куда? – Ну, это, – говорю, киви нужно у них в соседнем отеле потырить. – По... Что?.. – переспросил Юлий Эрастович. – Спи... – хотел пояснить я, но посмотрел в чистые глаза интеллигентного человека и быстро поправился: – Ну, это... – Украсть...

Приличия требовали от Юлия Эрастовича сделать хотя бы несколько попыток оказать сопротивление этому непристойному предложению. Потому что, каким бы интеллигентным, каким бы образованным человек ни был, а хочется ему иногда, хоть на секундочку, скинув пиджак, в белой своей накрахмаленной сорочке в грязи поваляться.

Всё, что было нужно сказать Юлию Эрастовичу по поводу невозможности принять участие в позорной акции, было им высказано, после чего мы дождались самого тихого, самого мёртвого часа в черногорской ночи и пошли на дело.

Отель «Монтенегро» рядом, через дорожку. Господи! Ну, Юлий Эрастович! Белые брюки, рубашка, опять-таки, белая! Кто же так ходит киви тырить?.. Уже, когда меня подсаживал, чтобы через низенький заборчик перелезть – уже об мои шлёпки весь испачкался. Пыхтел – солидность всё-таки, как у всякого взрослого мужчины, животом обозначена. Можно было, конечно, и через калитку, пройти, и через ворота – там всё открыто, никакой бдительности. Но тогда весь интерес пропадает. Перелез я через заборчик, Юлию Эрастовичу помог через него перевалиться. Вот они, кивушки наши родимые! Висят себе, ни о чём таком не догадываются. Ну, пришлось Юлию Эрастовичу и тут потрудиться: киви эти оплели беседку и с потолка, как виноград, над нами повисли. Приподнимал меня Юлий Эрастович, а я рвал. Сначала ел, а потом рвал. Юлий Эрастович кряхтит, упадёт вот-вот...

Рвал я, в мешочек полиэтиленовый складывал. Потом мы с Юлием Эрастовичем ещё полные пазухи себе этих лохматых картошек наклали.

А кругом фонари, светло, как на телевидении!

Перелезли мы обратно тем же способом. В пазухе у Юлия Эрастовича киви подавились от напряжения, белая рубашка зелёными пятнами пошла.

В номере краденное на кровать высыпали, красиво получилось. Столько добра и всё даром! Есть у ворованных предметов такая положительная особенность. Юлий Эрастович

опять слабо посопровтивлялся, а потом взял-таки с журнального столика рюмку водки, которую я налил по случаю нашего праздника. Так к утру всю бутылку и уговорили.

Утром долго спали.

Потом пошли к морю, окунуться. А проходить нужно через фойе, в котором большой прилавок, за которым всегда стоят вежливые служащие отеля. Всегда улыбаются всем подряд, всем радуются.

На этот раз в фойе было необычнолюдно. Целая толпа всякого народа собралась, смотрели телевизор, который на стене был подвешен. И мы, конечно, подошли. А вдруг Каддафи поймали, ураган «Айова» изменил направление или Ходорковского отпустили?..

Нет, смотрели, видно, какой-то детектив. Зелёные заросли, темные тени, хруст веток... Ба! Так это же мы с Юлием Эрастовичем! Там же кругом видеокамеры были понатыканы! Современные технологии, блин. В полумраке разглядеть было трудно, но точно – «нано». И теперь они через свой полтора метра на два нано телевизор всё просматривали. Когда действие дошло до того, как Юлий Эрастович, сидя среди груды приморских овощей на кровати, опрокинул первую рюмку, раздались громкие аплодисменты. Потом кто-то заметил нас и раздался этих аплодисментов целый взрыв. Старики, женщины, дети, отдыхающие в одежде и без, кинулись восторженно к нам. Смеялись, жали руки, просили автограф.

Через толпу протиснулась Оксана, представитель экскурсионной фирмы «R-tur», тоже с чем-то поздравила. Оказывается, наша ночная прогулка произвела большое впечатление на общественность отеля. Многие из отдыхающих стали проситься устроить им такую же экскурсию. «R-tur» первой ухватила за эту идею. Поездка в Каньоны – 55 евро, спуск по речке Тара на плотах, RAFTING – 65 евро. Ночью воровать киви?.. Это же, сколько на этом можно заработать?!..

Оксана сунула нам в руки по сто евро, попросила подписать какие-то бумаги. В них из знакомых латинских словосочетаний угадалось только одно, в кавычках: «TIRIT KIVI».

Мы, подписали, не стали торговаться.

Побывали мы с Юлием Эрастовичем и на одной из «фирменных» экскурсий по Черногории. В далёкие времена на маленькое государство нападали все, кому не лень. Ждать помощи можно было только от Бога. Поэтому строили монастыри. А, чтобы слово Божие оказывало на врагов наглядное действие, параллельно строили ещё и крепости.

Турки, которые чаще всего бывали на черногорской земле незванными гостями, тоже, в меру сил, помогали. Увидели, что живёт черногорский народ в тяжелых условиях. С водой напряжёнка, больниц нет, опять-таки, они, турки, постоянно нападают. И нашли янычары в одном из монастырей монаха и сделали его святым. А для этого содрали с него с живого кожу. И с тех пор святой всех людей в округе лечит, решает проблемы с водой и жильём. И добился, наконец, что турок этих уже давно и ноги нет на земле черногорской...

Ну, так сказать, со страной ознакомились, напряжение сняли, можно было бы уже и спокойно отдыхать. Да, уже и собрались. Прошли уже несколько раз по асфальтовому тротуарчику к морю и обратно. А оно, идёшь – ведь по сторонам смотришь. Запоминаешь достопримечательности. Пальмы, например. В конце августа листья на них, как и у нас, на клёнах карагачах, желтеют. Пальмовый листопад начнётся, видимо, где-то в сентябре, нам его уже не увидеть.

И тут заметили мы ещё ананас. Большой такой, растёт прямо из земли, как морковка. Вот те и раз! У нас в магазине продают всякую мелочь, а настоящий ананас, оказывается, совсем гигантский корнеплод. Ананас этот рос на лужайке отеля для миллионеров. Конечно, сто пятьдесят рублей за килограмм – кто ещё такое может себе позволить! Пролез я под шлагбаумом, помог пролезть Юлию Эрастовичу. Интересно же эту рифлёную морковку вблизи рассмотреть! Подошли, замеряли – где-то три наших обхвата! Это же полтонны, а то и больше вкуснейшего продукта!

Я посмотрел на Юлия Эрастовича...

Ночью мы с лопатами были уже на лужайке перед ананасом. Чтобы никто нас на этот раз не узнал, лица обмотали тряпками с дырочками для глаз. Правда, от белого своего костюма Юлий Эрастович всё-таки не смог отказаться. А зря...

Стали копать. Дело оказалось безнадежным. Закопались вокруг, как шахтёры, а конца этому корню так и не видно. Тут без экскаватора никак. Бросить как-то неудобно. Хорошо – с достоинством отказаться от затеи помог случай. В этом миллионерском дворце-отеле по ночам на лужайку служители выпускали на прогулку молодую белую пуму. Ну, и она к нам подошла, посмотреть, чем занимаемся.

Потом решила с нами поиграть...

Костюм Юлия Эрастовича превратился в тюль плиссе гофре. Безнадежно пострадали и мои треники с маечкой. Пума нас не кусала. Так, попинала лапами, облизывала – и всё. Ушли живыми, на четвереньках, стараясь быть похожими на кошек. Чтобы спастись, все средства хороши. Мы ещё, как могли, «Мяу!..» кричали.

Естественно, что наутро мы в нашем отеле уже были героями. На нас приходили посмотреть даже из миллионерского дворца.

Оксана на этот раз выдала нам уже по двести евро, и мы подписали ещё одну бумагу.

И потом до конца нашего сезона на всём побережье нас бесплатно угощали, катали на лодках и вообще оказывали нам всевозможные знаки внимания.

И вот наступила последняя ночь. На следующий день самолёт, отдохнувшие, загорелые будем улетать на родину. Юлий Эрастович, по сложившемуся уже обыкновению, ушёл в кафе, поразгадывать кроссворды. В нашем отеле всегда было тихо, а в эту ночь в коридоры на наш этаж пробрался какой-то явный дебошир. В тишине он стучался к кому-то в номер, требовал открыть. Отдыхал, потом стучался опять. Я пытался не обращать внимания. Потом всё-таки выглянул в коридор. Дебошира не было видно, он глухо стучал, как будто бился головой, где-то за поворотом. После двух трёх ударов он делал паузу, рычал:

– Лола, открой! – Потом бился дальше. Разнообразие ни в ударах, ни в текстах особого не было:

– Лола, я знаю, ты здесь! Лола, открой, убью!..

Бум!.. Бум!..

Я оглянулся. Голубые испуганные глаза, длинные волосы. Руки прижаты к груди.

– Тебя как зовут?

– Лола...

Я выглянул в коридор. Свободно. Рычание и стуки на достаточном удалении.

– Беги, Лола, беги!..

Дурочка, юбку забыла надеть...

На другой вечер наш самолёт взмыл над синим зеркалом Адриатики, направляясь на восток, туда, где уже начиналась ночь. Очень скоро стало совсем темно. Новогодними ёлками сияли под крыльями самолёта европейские города. Я уснул. Моё астральное тело вышло за пределы самолёта, чтобы полюбоваться, посмотреть на все со стороны.

Airbus A320, казалось, завис под яркими августовскими звёздами.

Огромным светящимся газовым шарфом, в глубоком черном бархате ночи над ним раскинулся Млечный Путь...

Россовхоз

Этот посёлок в нескольких километрах от Актюбинска стали называть «Россовхоз». Хотя от рождения его имя выглядело несколько иначе: «Растениеводческий совхоз №8 Дорожного Управления Рабочего Снабжения (ДорУРСа)». «Растсовхоз». Но на слух легче ложилось «Рос». И на автобусе, который возил жителей совхоза в город и обратно, тоже было написано: «Россовхоз».

У Наринэ Абгарян, чуть что – Берд. Она постоянно к нему возвращается. А я всё время возвращаюсь в Растсовхоз. Посёлок моего детства и юности. Когда собираюсь спать, закрываю глаза – перед глазами встают его просторные песчаные улицы. Которые никогда не бывали грязными. Все дожди уходили в многометровую песчаную землю, лужи высыхали быстро.

В Растсовхозе была самая чистая вода в колодцах. И у неё был совершенно особенный вкус. Вкус чистоты...

Я помню три колодца.

Один, из которого брали воду мы, находился рядом с конторой. Горизонтальное бревно, на него наматывалась цепь с ведром. Бревно, которое нужно было придерживать ладонью, когда помятое цинковое ведро спускалось на цепи к воде. И от многих рук и ведер которое у края стало тоньше, сделалось талией и отполировалось. Колодезное ведро изнашивалось: оно билось о каменистые стены шахты, шлёпалось с размаху, падая с высоты на жёсткую гладь ледяной воды. И тогда цепляли новое ведро. И в солнечный день вода прозрачным жидким хрусталём плескалась среди сияющих рефлексий цинка. И казалась ещё чище.

Второй колодец был тоже у дороги, возле дома Залютдиновых. Он был гораздо глубже, выложен из бетонных колец, последнее из которых, маленькое, с монетку, можно было разглядеть уже с усилием, приглядевшись к полумраку.

И – ещё один колодец – на хоздворе, у конюшни. Он не просто отличался от других видом. Он был особенным. Воду из него доставали при помощи «журавля». Это что-то вроде больших весов с коромыслом. На одном конце прикручен груз, а на другом – пустое ведро. Это ведро достаточно за верёвку или цепь опустить к воде, его в ней утопить, а уж потом просто отпустить – и груз по другую сторону коромысла легко его вытащит.

Этот колодец обслуживал конюшню и весь остальной скотный двор. Сейчас его, конечно, нет. Но могли бы его и сохранить, как памятник старины. У таких «журавлей» история с VI века. Но наш соорудили уже в советские времена. И разрушили тоже.

Во времена моего детства всё вокруг казалось обычным, естественным, как папа и мама. Тенистые кленовые сады, аллеи. Арыки, по которым бежала вода из реки и из подземных скважин. А вокруг, вдоль – пышнозелёные, шумливые тополя. Ветер из жарких степей долетал до них и запутывался, останавливался в многочисленных глянцевых листьях.

А ещё были бараки.

Тогда это название главных домов посёлка казалось естественным. Ну, «барак» и «барак». Что тут особенного? Если он – барак? Нам, детям Растсовхоза, конечно, и в голову не приходило, что слово «барак» в переводе с арабского означает «благословенный» и что нам всем очень повезло, что мы живём в бараках. Как и не думали, что «барак» – это «малоэтажное строение, часто использовавшееся как место некомфортного коллективного размещения (проживания) людей (Википедия)». То, как мы в них жили – не вызывало удивления, либо ощущения дискомфорта. Мы жили, как все. А, разве, бывает ещё как-то по-другому?..

Длинные коридоры, по обе стороны которых двери, двери, двери. Это были «квартиры». Большие комнаты для больших семей. Их можно было внутри делить на закутки с помощью занавесок. И тогда однокомнатная квартира превращалась в трёх-четырёхкомнатную. Удобства на улице.

Но ещё, конечно, и ведро в квартире для детей, стариков или на случай сильной непогоды. За ширмами и занавесками барачных комнат жили и умирали старики, шептали друг другу первые слова влюблённые, ползали, путались между ног, игрались маленькие дети.

Я не до конца распечатал пояснение Википедии о бараках. Там дальше ещё было: «место некомфортного коллективного размещения (проживания) людей, например, в концентрационных лагерях».

У нас, слава Богу, был не лагерь. Не было ни охраны, ни – колючей проволоки. Только – бараки.

Бараков было четыре. И мы их так и называли «Первый», «Второй», «Третий», «Четвёртый». Был ещё один, но у него никакого номера не было. Потому что это было у нас что-то среднее между Кремлём и Домом на набережной. В этом внушительных размеров сооружении размещались контора, магазин, библиотека, клуб-кинозал и почта. В случае революции не было нужды бегать по посёлку. Достаточно было взять штурмом Главный Барак, где заседали наше правительство и находились министерство финансов, культуры, а также почта и телеграф.

Окна...

Стены в наших бараках были толстыми, из самана. Где-то с метр толщиной. И не сказать, что так уж некомфортно было жить внутри. Зимой тепло, летом прохладно – уже это огромный плюс.

Окна были двойными.

В промежутки для красоты укладывали вату, а на неё что-то красивое. Разноцветные игрушки, конфетти.

Осенью папа вынимал одну раму, выдёргивал его из саманной обоймы, и мама готовила окно к зиме. Мыла, меняла пыльную старую вату на свежую, беленькую. Украшала кусочками яркой ткани. Потом папа ставил вторую раму на место, щели аккуратно замазывались и забеливались. Я любил подходить к этим обновлённым окнам, на них было приятно смотреть. Ах! Как красиво смотрелись цветные тряпочки на фоне белоснежной ваты!..

А накануне лета с окнами проводилась другая процедура: папа вынимал «шибку», стекло из окна. Форточек в наших окнах не было, поэтому для того, чтобы в квартиру проникал свежий воздух, нужно было вынуть из окна стекло. Прём затягивался марлей, чтобы не залетали комары и мухи.

И тогда совсем по-новому происходило утреннее пробуждение в этой комнате с открытым окошком.

Мы с родителями, конечно же, как и другие жители совхоза, высадили возле своего барака деревья. А в них завелись воробьи, которые вскрикивали в звонком воздухе по утрам, что в комнате было хорошо слышно.

А ещё было хорошо слышно, как идёт дождь. И под этот шум было уютно и легко и засыпать и просыпаться.

А ещё можно было проснуться утром, когда дождь уже прошёл, и в комнате – запах от промытых кленовых листьев, полыни и песчаных тропинок...

В конце лета крыши наших бараков обновлялись. Так и хотелось употребить слово «апгрейд». «Апгрейд барака» – звучит-то как!

К бараку подвозили солому, глину, песок. Делали из этого всего такой большой круглый «торт». Поливали водой. Потом по этому тарту, по кругу, долго водили лошадь, чтобы перемешать всё в однородную массу. Устанавливали «журавль» для подъёма глины на крышу.

Вёдрами смесь подавалась наверх, где её принимали женщины и ровно потом её размазывали по всей поверхности крыши.

Но на этом «апгрейд» барака не заканчивался. Его ещё со всех сторон подбеливали, и тогда эти полутюремные строения выглядели совершенно роскошно.

Наша крыша была особенной. Потому что наш барак вмещал в себя школу, медпункт и комнаты, где жили мы, потому что моя мама фельдшер, а ещё учительница и школьная уборщица.

Однажды моя мама увидела, как с чердака нашей крыши сбрасывают доски. И она стала спрашивать: – А, зачем?..

Рабочие не стали распространяться, но мама подробности прояснила.

В Растсовхозе, как и в любом другом месте на земле, жили живые люди. И они, как это им уже свойственно, не только женились и сочетались необходимыми для продолжения жизни связями, но и устанавливали эти связи помимо освящённых законом действий.

Совхозный завхоз Гавриил питал слабость к одинокой доярке Матильде. Должность позволяла ему оказывать ей материально ощутимые знаки внимания. Но доски уже чересчур на складе были на виду. И Гавриил приказал рабочим посковыривать доски с нашего барака. Потолок был накрыт в два слоя – это явное излишество.

Мамина любознательность приостановила процесс изъятия. То, что рабочие содрать успели, они увезли.

Когда мама пересказывала эту историю, я был маленький, и воспринимал всё, как легенду, в которой обязательна доля вымысла. Но, когда повзрослел, я стал забираться на чердак, потому что там было интересно. И обнаружил, что, да, над школьными классами доски были всего в один слой. И сквозь щели хорошо просматривались и парты, и школьная доска, и стол учительницы...

В Актюбинске у меня был друг Валера Бауэр. И я ему говорил, что на ступеньке общественного развития я нахожусь выше, чем он. Потому что совхоз – более прогрессивная форма ведения хозяйства. В совхозе, как на любом предприятии, рабочие. Они получают зарплату. У них есть выходные. А Валера вырос в колхозе. Где до 1974 года было крепостное право. Вместо денег – трудодни. Выходные зимой.

В общем – мне повезло, что я родился именно в совхозе, а не в колхозе.

Я ещё не ходил в школу, и за мной нужно было присматривать. Обычно это достаётся дедушкам и бабушкам. Моя бабушка ещё работала в совхозе. Поэтому, когда меня к ней привела мама, чтобы я погулял, пока она съездит в город за медикаментами, я не просто оказался под присмотром, но ещё и под замком. Потому что бабушке нужно было на работу в совхозный подвал, перебирать картошку.

Но я уже тогда был мальчишкой смыслёным. Времени у меня было полно. Я позаглядывал во все уголки бабушкиной каморки и нашёл связку ключей. Замок на двери висел на кольцах, если попытаться её открыть, то получалась щель. Пролезть через неё было нельзя, но рука проходила. Я просунул в зазор руку с ключами и стал методом тыка подбирать. Минут пятнадцать посопел и замок открылся.

Тот, кто хоть раз сидел под замком, а потом получал свободу, меня поймёт.

На улице было тёплое лето. Яркое светило солнце. Я мог идти, куда захочу! Делать всё, что захочу!

И я пошёл...

К... бабушке...

В подвал...

Ну, чтобы москвичам было понятнее, наш совхозный подвал был очень похож на метро. Только, вместо эскалатора – настил из досок, который уходил далеко в глубину. На доски были набиты поперечные бруски, чтобы не скользить. Получалась такая лестница.

Как мне было интересно!

Вход в подвал, спуск был похож не только на метро, но и на пещеру. В которой могли водиться и всякие Змеи Горынычи, и скелеты с Бабами-Ягами.

Но таких чудес, к моему великому сожалению, в промозглом подвале не оказалось.

Я там нашел свою бабушку в тёплой фуфайке и других, тепло одетых, женщин, которые перебирали холодный картофель.

Бабушка очень удивилась моему появлению, но не ругалась. Есть ли на свете бабушки, которые ругаются на своих внуков?

И остальные женщины мне улыбались. Наверное, я для них оказался маленьким лучиком солнца, которое не заходило сюда никогда.

Я чувствовал себя героем. Рассказал о своём чудесном освобождении и пошёл оглядывать подземные хранилища. Сюда закладывали картошку, свёклу. В огромных деревянных чанах стояла засолка с огурцами, помидорами. В чанах же хранилось и зерно. На момент моей экскурсии они стояли пустыми, и заглядывать в них было страшновато. Темно там.

Кто знает, может, какая-нибудь Баба-яга всё-таки там заблудилась и возьмёт вдруг и выскочит, вся в паутине, из заплесневелой глубины...

Сейчас любят поговаривать о том, что в прежние времена, при Советском Союзе, было хорошо. Я возвращаюсь в свой Растсовхоз пятидесятых, и кое в чём с этим могу согласиться. Как ни странно, но я при этом почему-то вспоминаю ещё и Сингапур. Где я, правда, не был и никогда не буду. Ну, может быть, ещё и Китай.

Страна может называться, как угодно: социалистической, капиталистической, в ней может быть коллективное правление и авторитарный лидер. Ни одно из этих состояний не может объяснить, почему страна богатая или бедная. Можно строить коммунизм и скатываться в каменный век, а можно и с авторитарным правителем построить лучшее в мире государство. Это – как кому повезёт. России не везло.

Хотя, кажется, система предоставляла все условия, чтобы разумно организовать хозяйство. Тут не нужно было прислушиваться к мнению большинства, которое всегда в развитии проигрывает элите. Можно было просто оттуда, сверху, волевым порядком проводить эффективную экономическую политику. Собрать для этого профессионалов. И их слушаться. Да, любые вопросы можно решать, когда власть сосредоточена в одних руках. Одна только заковыка – нужно к этим рукам голову подобрать. А, вот с этим у нас как раз и выходила всегда проблема.

Но подавляющее большинство населения, как раз, те самые, которые образованы меньше, но кушать хотят с остальными наравне, а то и больше, они всегда зажмуривались и старались не замечать, как распоряжается руками власти новая голова. И ругали её только потом. Когда она по тем или иным причинам на плечах не удерживалась.

Нет, от своей основной темы, про Растсовхоз, я не отвлёкся.

Потому что в моих воспоминаниях он остался небольшим оазисом, маленьким Сингапуром, который стал возможен именно потому, что была Советская власть, но внутри которой не всё было однозначно. Потому что люди кругом разные. И они по-разному использовали механизмы управления, которые будто бы у всех одинаковые.

Растсовхоз возник на пустом месте.

Построили возле Актюбинска саманные бараки, заселили их ссыльными со всей страны. Совхоз должен был выращивать овощи для сотрудников железной дороги. И сейчас я уже знаю, что были в этом совхозе руководители, которые внутри системы выстроили этот свой маленький Сингапур.

Через несколько лет овощей стало завались. Огурцы, помидоры, капуста, картофель. Но... Не только это...

Вокруг бараков была степь.

А, через несколько лет, вокруг совхоза зазеленели сады. Не знаю, поступал ли «сверху» партийный приказ озеленить Растсовхоз. Вряд ли. Инициатива исходила от директора, самих жителей совхоза. Которых свезли из Молдовы, центральной России, Поволжья. Им хотелось – кусочек Родины. Чтобы было похоже – хоть чуть-чуть...

Были посажены клёны – большой тенистый сад с аллеями. От них, кроме красоты – никакой пользы. Ни плодов, ни ягод. Только тень. Зелень. Прохлада. Вдоль арыков, по которым шла вода на поля, были высажены тополя. Тополя – вокруг планок с капустой и огурцами. Чтобы сдерживать горячие степные ветры. А ещё – внутри таких же тополиных рядов – два сада фруктовых. Правда – одни червивые ранетки. Ну, не росло на тот момент ничего другого в тех краях. Не выживали ни груши, ни яблони. А ранетки росли. И каждую весну возникало это чудо – цветущие фруктовые сады! Густой, пахучий воздух, который можно добавлять в чай и он будет с мёдом. А, меж деревьев, не полынь, не колючки, а настоящая высокая садовая трава!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.